

# ЖЕНЩИНЫ ГОГОЛЯ И ЕГО ИСКУШЕНИЯ



Максим Акимов

Любовные драмы

Максим АКИМОВ

**Женщины Гоголя и его искушения**

«ВЕЧЕ»

**Акимов М. В.**

Женщины Гоголя и его искушения / М. В. Акимов — «ВЕЧЕ»,  
— (Любовные драмы)

ISBN 978-5-4484-8133-8

Сумрачный странник – таким мы привыкли воспринимать Гоголя. А он между тем был весьма необычным человеком, и прожитая им жизнь была также необычайна, полна самых ярких впечатлений и событий. Потому, быть может, важным является вопрос о сердечных тайнах Гоголя, о его отношениях с женщинами. Мария Петровна Балабина, Александра Осиповна Смирнова-Россет, Мария Николаевна Синельникова. Их черты сохранены для истории на старинных портретах, но кем они были для Гоголя, каковы были его чувства к этим женщинам, и, главное, существовала ли на свете та единственная, которую великий писатель решился назвать невестой? Об этом рассказывает очередная книга серии.

ISBN 978-5-4484-8133-8

© Акимов М. В.

© ВЕЧЕ

## Содержание

Глава первая. Происхождение Гоголя, детские годы	7
Глава вторая. Знакомство с Петербургом и таинственная влюблённость	23
Глава третья. После Любека Гоголь берётся за ум	40
Глава четвёртая. Гоголь и Маша Балабина	49
Глава пятая. На подходе к важному рубежу	57
Глава шестая. Отъезд за границу	79
Конец ознакомительного фрагмента.	83

# Максим Валерьевич Акимов

## Женщины Гоголя и его искушения

© Акимов М.В., 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

\* \* \*

*Сумрачный странник – таким мы привыкли воспринимать Гоголя. А он между тем был весьма разным, и судьба его заключала в себе любопытные различия.*

*Случались такие дни, когда Гоголь буквально источал веселье, причём это были не вспышки сарказма, это была сама лёгкость. И казалось, будто римская Strada Felice (в буквальном переводе – Счастливая дорога), где он проживал в свои лучшие времена, и в самом деле способна вывести его линию жизни, его великое дело и судьбы всех его читателей к новому свету прекрасной жизни.*

*Порой он писал восторженно-яркие письма друзьям. А одной нежной молодой особе отправил послание на итальянском языке. Письмо получилось игривым и чуждым, как плод светлого веселья, которое овладевало Гоголем в тех закоулках судьбы, где он бывал счастлив. Там, на берегу Средиземного моря, с Гоголем произошло несколько любопытных историй. Наш классик был молод, а его жизнь ещё не казалась головоломкой, созданной сумрачным гением.*

*Однако нынче она представляется именно таковой. И наиболее загадочным и оттого, быть может, необычайно притягательным является вопрос о сердечной тайне Гоголя, о его отношениях с женщинами.*

*Трудно ли отыскать их след на полотне гоголевской жизни? И можно ли назвать их имена?*

*Можно, отчего же – нет? Вот они. Мария Петровна Балабина – Машенька – любимая ученица Гоголя; Александра Осиповна Смирнова-Россет – Черноокая Ласточка – многолетняя корреспондентка Гоголя, его родственная душа; Мария Николаевна Синельникова – Мариам – кузина Гоголя, сблизившаяся с ним перед самым финалом его жизни и нежно хранившая прядь его волос.*

*Каждая из этих дам была бесконечно очаровательна, их черты сохранены для истории на старинных портретах, но кем они были для Гоголя, каковы были его чувства к этим женщинам и, главное, существовала ли на свете та единственная, которую великий писатель решился назвать невестой?*

*Представьте – да, была одна интересная особа, которую Николай Васильевич повстречал на пути странствий и всё же надумал сделать избранницей.*

*Так кто же она? Что за таинственная искусительница? Может, принцесса какая-то? Не удивляйтесь, но всё почти так и есть. Девушка, на которой Гоголь остановил свой взор, оказалась дочерью принцессы Луизы Бирон, состоявшей в браке с графом Виельгорским. Сии господа принадлежали к высшей европейской аристократии.*

*Нет, Гоголь не искал богатств, не претендовал на фамильные замки. А чего же тогда искал он? Что же стало причиной его «тайного сватовства»? Нелегко ответить на эти вопросы. Но давайте попробуем.*

*Слово будут иметь письма Гоголя, кроме них – авторская исповедь писателя, ну и ещё – добросовестно отобранные свидетельства, оставленные людьми, не понаслышке знавшими*

*биографию Николая Васильевича. Выяснять щекотливые детали будем дотошно и кропотливо, но главное – честно, не подставляя заранее заготовленные ответы.*

*А если откроется что-то тёмное в тайной комнате гоголевских чувственных переживаний? Ну, коль откроется, то поговорим и об этом.*

*Однако ни в коем случае не будем подчиняться стереотипам, сложившимся в головах после того, как пролился обильный дождь сплетен о Гоголе. Давайте-ка, в конце концов, глянем на то, как всё было на самом деле, на то, что в реальности являлось сокровенной сердечной тайной Гоголя? Для этого нам придётся коснуться, хотя и очень бережно, того занавеса, за которым происходила одна из самых непростых и трагических мизансцен гоголевской драмы. Она была необычной, вернее, необычайной, как всё гоголевское, очень тонкой и хрупкой, но оторваться невозможно, очень уж она завораживает!*

## Глава первая. Происхождение Гоголя, детские годы

Феномен Гоголя – это водоём, имеющий немалые глубины, и промер таких глубин – дело очень непростое. Мало кому из исследователей оно удавалось, во всяком случае по-настоящему, так чтоб в самом деле достичь твёрдого дна, определить чёткие контуры, подводные хребты и ложбины, а к тому же – объяснить природу течений и свойства вод, движимых течениями. Предположений об этих явлениях было сделано немало, но в точности сказать о них никто или почти никто не мог. Но даже не это главное, а состоит оно в том, что люди близорукие или намеренно недальновидные выдают темноту глубин Гоголя за чёрную и мутную суть воды гоголевского океана. Однако глубина океанической впадины такого масштаба всегда сумрачна, поскольку так ей положено по природе вещей, и феномен Гоголя ничуть не спорит с законом естества. Судить же о прозрачности и чистоте гоголевской сути надо так же, как мы судим о свойствах океанической, речной или озёрной воды, то есть добросовестно исследуя «пробы вод» с разных глубин, с разных уровней, до самого дна. Это трудное дело, но оно выполнимо. И когда мы определим характеристики основных составляющих гоголевского океана, то и вся картина целиком станет более ясна.

Пожалуй, нас ждёт немало неожиданностей. Какие-то формы подводного рельефа и какие-то течения покажутся гораздо сложнее, чем рисовал обывательский или пристрастный взгляд, а иные явления гоголевской жизни, совсем напротив, окажутся не так и запутаны, не такими и странными проявятся они, когда рассмотрим мы все те «пробы воды» и промеры, что есть в нашем распоряжении. Судьба гения затейлива и прихотлива, но порой и гениальное просто, и потому не стоит усложнять понапрасну, но вместе с тем не стоит пытаться толковать явления гоголевского существа как нечто банальное. Надо привыкнуть к мысли, что загадка Гоголя обширна, в ней много составных частей, и это само по себе обязывает нас не суетиться. Так вот, коль без суеты, перейти от метафорического вступления к конкретному разговору, то первыми, самыми естественными и, по мнению многих, самыми главными, являются вопросы: «Почему у Гоголя не было семьи? Каковы были связи Гоголя, каковы были его любовные предпочтения?»

Скрытная натура Гоголя обусловила трудности в выяснении этих вопросов и дала повод иным любителям мистификаций гордиться Бог знает что, однако ответы, которые способна преподнести действительная канва гоголевской судьбы, настоящий пунктир его жизни, опорная структура его духовного здания, пожалуй, просты, быть может, неожиданно просты и этим способны явиться удивительными для многих, успевших воспринять массу небылиц и анекдотов о судьбе и натуре писателя.

Так начнём, пожалуй, планомерный промер глубин, то есть сразу перейдём к сути, к разговору о чувствах Гоголя, о его отношениях с женщинами.

Начинается история чувствований юного Никоши, наука любовных переживаний, разумеется, с семьи, то есть с любви, испытываемой к матери, с наблюдения за чувством, которое жило и росло в его родителях. А эта история любви, эта связь была настолько гармонична, настолько высокую планку любовных отношений задали родители Николая Васильевича, что она явилась чем-то таким, к чему можно стремиться, но почти невозможно достичь. И как впоследствии иные сочинители желали достичь писательского уровня Николая Гоголя, так сам гений мог лишь мечтать найти чувство и создать союз, подобный тому, в котором пребывали его родители.

Семейная жизнь Гоголей-Яновских, родителей и детей, была чем-то вроде кристалла, где каждая частичка располагалась на своём месте, и он был бы абсолютно прозрачен и чист, как алмаз, если бы в нём не присутствовала единственная инородная частица, будто молекула алюминия в кристаллической решётке углерода, дающая ярко-красный цвет драгоценному камню.

Никоша был именно этой частицей, то есть он являлся и составной единицей своей семьи, но и чем-то отдельным, более ярким, иным. Гоголь-наследник был и частью и наблюдателем событий, разворачивавшихся в жизни его родителей.

Идеальность, пожалуй, сказочность их истории создала для Николая Васильевича некий сложный эффект поиска высшей планки, высшей точки отношений с женщиной. Запечатлев в своей памяти ту, почти неправдоподобную, историю отношений, что происходила между его родителями, он уже не мог согласиться на что-то менее настоящее, на что-то менее великое. Он всю жизнь искал этого и в себе, и в женщинах, на которых падал его взгляд.

Сама история знакомства Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского с невестой была похожа на романтическую былинку, почти легенду, и в неё трудно было бы поверить, если бы не документальное совпадение дат и фактов, доказывающих подлинность истории.

Отец нашего писателя был почти также мечтателен и тонок, как и его знаменитый сын, а к тому же очень чувствен. Свою судьбу он увидел во сне, в четырнадцать лет, когда с родителями возвращался с богомолья. На старом постоялом дворе, где семейству Гоголей-Яновских выпало заночевать после долгой дороги, юному Василию Афанасьевичу приснилась Святая Дева, которая указала на девочку-младенца, и объявила, что это есть наречённая невеста.

Родители поначалу не очень серьёзно отнеслись к этому видению сына, тем более что избранницей стала семимесячная малышка – Маша Косяровская с хутора Яреськи; всё это было если и трогательно, то очень забавно. Но Василий Афанасьевич оказался твёрд в своём намерении выполнить означенное. Он действительно и серьёзно уверился в своём чувстве и ждал долгие годы, не отдавал своего сердца никому, кроме этой девочки.

Маша Косяровская, то есть та особа, что вошла в мировую историю как Мария Ивановна Гоголь, с детства знала об этом и росла с этим чувством. С самых первых сознательных дней, и до последнего вздоха она жила только внутри этого чувства, никогда она не знала ничего иного, никогда в её жизни не могло быть других мужчин, даже в шутку, даже не всерьёз.

Василий Афанасьевич ждал, но его возраст становился уже довольно зрелым (на Украине женились раньше, чем в столицах), он даже чахотку себе заработал, томясь вынужденным одиночеством в самые молодые и энергические годы. Но как уж он дал себе слово, так и оставался верен обещанию. Впрочем, с того момента, как девочка была выбрана им в невесты, он не отходил от неё далеко и, пока она была малышкой, дарил ей игрушки и кукол, а когда она подросла, часто приходил под окна своей Машеньки, пел ей серенады.

Наконец, в свои двадцать восемь и в неполных пятнадцать лет невесты он сосватал-таки её у родителей, причём история сватовства и свадьбы была столь же трогательной, почти романной, и составлено всё это не чьей-то выдумкой, не пером писателя, а судьбой.

Как я уже отметил, существуют подтверждения этой наивно-трогательной легенды, а вернее – её осуществления. Дело в том, что Василий Афанасьевич и в самом деле следил за взрослением Маши Косяровской, а её родные с удивлением замечали характер его отношения к ней.

«Когда я начала подрастать, – вспоминала впоследствии Мария Ивановна, – то он (Василий Афанасьевич) забавлял меня разными игрушками, даже не скучал, когда я играла в куклы, строил домики из карт, и тётка моя не могла надивиться, как этот молодой человек не скучал заниматься с таким дитём, по целым дням; я хорошо знала его и привыкла, часто видя, любить его» [1].

Когда прошли положенные годы и юная Маша с молодым Василием Афанасьевичем поженились, то в самом деле возникла идеальная пара, не произошло того нередкого в общем-то случая, когда люди ожидают от брака чего-то невероятного, а получается банальное разочарование. Нет, Василий Афанасьевич действительно угадал, точнее сказать, послушал верный голос, и все те годы, что был женат (то есть до последнего дня своей жизни), наслаждался своим счастьем и бесконечно ценил его.



*М.И. Гоголь-Яновская. Неизвестный художник*

Все, кто знал Марию Ивановну, отмечали её красоту, милость, женственную нежность. Но когда Василий Афанасьевич увидел семимесячную Машеньку, он вряд ли имел возможность судить о её будущей внешности. Он лишь почувствовал что-то своей детской интуицией.

Никоша Гоголь-Яновский знал эту семейную легенду, и, наверное, Гоголю-сыну был явлен этот феномен для того, чтобы навсегда запрограммировать своё существование на поиск предельной планки чувств и духовных возможностей.

Дело, однако, происходило в тихих, почти заповедных местах колоритной малороссийской глубинки, а в жизни гоголевской семьи, помимо необычайной сказочности, было и довольно простоты, той уютной и милой, что потом отразится в «Старосветских помещиках».

Ранний биограф (и современник) Гоголя Пантелеймон Кулиш, к свидетельствам которого мы ещё не раз обратимся, оставил любопытное описание характера родителей Николая Васильевича, домашнего быта Гоголей, огонька их семейного очага.

«Сын полкового писаря Василий Афанасьевич Гоголь, отец поэта, был человек весьма замечательный. Он обладал даром рассказывать занимательно о чем бы ему ни вздумалось и приправлял свои рассказы врожденным малороссийским комизмом. Во время рождения Николая Васильевича он имел уже чин коллежского асессора, что в провинции – и еще в тогдашней провинции – было решительным доказательством, во-первых, умственных достоинств, а во-вторых, бывалости и служебной деятельности. Это уже одно заставляет нас предполагать в нём известную степень образованности – теоретической или практической, всё равно. Таким образом занимательность его рассказов объясняется не одним врожденным даром слова: он много знал, много видел и много испытал. Это не подлежит сомнению. Но как бы то ни было, только его небольшое наследственное село Васильевка, или – как оно называется исстари – Яновщина, сделалось центром общности всего околотка. Гостеприимство, ум и редкий комизм хозяина привлекали туда близких и далеких соседей. Тут-то бывали настоящие «вечера на хуторе», которые Николай Васильевич, по особенному обстоятельству, поместил возле Диканьки; тут-то он видал этих неистощимых балагуров, этих оригиналов и деревенских франтов, которых изобразил потом в своих несравненных предисловиях к повестям Рудого Панька [2].

Малороссийские помещики прежнего времени жили в деревнях своих весьма просто: ни в устройстве домов, ни в одежде не было у них большой заботы о красоте и комфорте. Поющие двери, глиняные полы и экипажи, дающие своим звяканьем знать прикащику (*так в оригинале*) о приближении господ, – всё это должно было быть так и в действительности Гоголева детства, как оно представлено им в жизни старосветских помещиков. Это не кто другой, как он сам, вбегал прозябнув в сени, хлопал в ладоши и слышал в скрипении двери: «батюшки, я зябну!» то он вперял глаза в сад, из которого глядела сквозь растворенное окно майская темная ночь, когда на столе стоял горячий ужин и мелькала одинокая свеча в старинном подсвечнике» [3].

А вот что замечал Владимир Шенрок, оставивший несколько томов исследовательских работ о Гоголе и массу интересных журнальных статей: «Непосредственная наследственность и непосредственные эстетические влияния (Николая Гоголя) шли прежде всего от Гоголя-отца. Его эстетические наклонности выражались очень разнообразно: и в сентиментальных серенадах невесте, и в не менее сентиментальном садоводстве, в устройстве беседочек и гротиков в саду и «долины спокойствия» в лесу – и в лирических стихах, чаще всего на случай, но полнее и сильнее всего в украинских комедиях» [4].



*В.А. Гоголь-Яновский. Неизвестный художник*

Современный нам биограф Юрий Манн добавляет: «Драматургия, похоже, принадлежала к любимому виду творчества Василия Афанасьевича. Он писал пьесы и на русском и на украинском языке, выдержанные в традициях русской комедии классицизма с её прямым, порою прямолинейным обличением порока» [5].

О жизненном пути Гоголя-отца Манн замечает: «Василий Афанасьевич (1777–1825) поначалу вступил было на духовное поприще, обучаясь в Полтавской семинарии. Но духовного сана не принял. После семинарии хотели послать Василия Афанасьевича в Московский университет, но план почему-то расстроился [6]. Молодой человек служил в армии, получив чин корнета [7], а затем определился на службу при Малороссийском почтамте, директором которого был бывший министр, родственник гоголевской семьи Д.П. Трощинский. В 1805 г.

Василий Афанасьевич вышел в отставку с чином коллежского асессора и решил заняться хозяйственной деятельностью в своём имении. Выполнял обязанности, как сегодня бы сказали, общественного характера: когда Трощинского выбрали в повитовые маршалы (предводители дворянства), Василий Афанасьевич стал его секретарём. А во время войны 1812 г. «принимал участие в заботах о всеобщем земском ополчении и... как дворянин, известный честностью, заведовал собранными для ополчения суммами» [8]. Одно время он даже исполнял вместо Трощинского обязанности повитого маршала» [9].

\* \* \*

Образование Никоши Гоголя-Яновского началось рано, было разносторонним и продолжалось долго. Вначале мальчика учил отец, который разбудил в нём страсть к литературному сочинительству.

В воспоминаниях Григория Данилевского, которому посчастливилось впоследствии лично знать Гоголя, мы находим интереснейшие подробности домашнего воспитания, которым подвергались Ваня и Никоша: «Первые годы жизни Гоголь провел со своим младшим, рано умершим, братом Иваном. Отец Гоголя, ездя в поле с сыновьями, иногда задавал им дороною темы для стихотворных импровизаций: «солнце», «степь», «небеса». Старший сын отличался находчивостью в ответах на такие задачи» [10].

А в семилетнем возрасте маленький Николай Гоголь знакомится с Сашей Данилевским, которому суждено с тех пор стать преданным другом великого писателя.

Здесь, в этой книге, будет немало ссылок и на воспоминания гоголевского сверстника Александра Семёновича Данилевского, которые он изложил в своих интервью Владимиру Шенроку после смерти Гоголя, и на собственноручные воспоминания его однофамильца – Григория Петровича, который хотя и являлся современником, но был намного моложе Гоголя (на 20 лет) и познакомился с ним в 1851 г. Однако оба Данилевских в разные периоды времени хорошо знали Гоголя, поэтому их слова имеют ценность.

Продолжим, однако, углубляться в детали гоголевского взросления. Оно было не пустым, а чрезвычайно наполненным, как, собственно, и другие этапы его удивительной жизни.

Ближайшее к Яновщине селение – Диканька, место дорогое гоголевской семье. Здесь в Николаевской церкви висела икона, перед которой Марья Ивановна молилась о сохранении жизни ее ребенка. Любопытно, что именно в диканьской церкви будет служить один из персонажей и рассказчиков первой гоголевской книги повестей дьяк Фома Григорьевич; что именно диканьскую церковь распишет кузнец Вакула в «Ночи перед Рождеством». Известна была Диканька и связанными с нею историческими воспоминаниями. Пушкин еще не написал «Полтаву» (где, кстати, фигурирует Диканька), но все знали, что нынешний владелец селения министр внутренних дел князь Виктор Павлович Кочубей – правнук Василия Леонтьевича Кочубея, казненного Мазепой за то, что известил Петра I о готовящейся измене. В Николаевской церкви показывали сорочку, в которой, по преданию, Кочубей принял мученическую смерть. А рядом с церковью рос огромный дуб – «мазепинский дуб», под сенью которого, как говорили, Мазепа встречался с Матреной, Кочубеевой дочерью (у Пушкина – Марией) [11].



*Дворец князя Кочубея в Диканьке*

Все эти исторические воспоминания и ассоциации лишь тенью отразятся в будущей книге Гоголя. Однако писатель вынесет в ее название слово «Диканька» и тем самым подчеркнет роль этого понятия, но, как и всё у Гоголя, оно отнюдь не локализованное, «По ту сторону Диканьки и по эту сторону Диканьки не исторически аффектированное. Мы говорим: Диканька – некий центр художественной вселенной, которую открыли «Вечера на хуторе...» («... и по ту сторону Диканьки и по эту сторону Диканьки...» – фраза из «Ночи перед Рождеством»), но это так и не совсем так. Фактически Гоголь переместил этот центр за пределы Диканьки, в некий хутор, где живет пасечник, где рассказываются одна история за другой и таким образом составляется будущая книга. Но вернемся к реальному пространству гоголевского детства» [12].

Вот Никоша Гоголь-Яновский, обучаясь у отца, получил домашнее образование

В конце лета 1818 г. Василий Афанасьевич повез обоих сыновей, Николая и Ивана, в Полтаву для поступления в тамошнее уездное училище.

Так в кругозор гоголевского детства вошел губернский город, старавшийся походить на столицу и называемый иногда «малым Петербургом»; город Полтавской битвы, замечательных исторических и художественных памятников, собора с иконами итальянских мастеров, нескольких учебных заведений, наконец, театра. Трехэтажное каменное здание для зрелищ было построено еще в 1808 г., а спустя десятилетие сюда была приглашена из Харькова знаменитая труппа Штейна, в которой начинал свою деятельность Щепкин, выступавший здесь в 1819–1821 гг. «почти во всех спектаклях» [13]. Год поступления Щепкина на полтавскую сцену совпал с приездом в город Николая и Ивана Гоголей. Обоих братьев зачислили в училище 3 августа 1818 г. и определили в высшее отделение первого класса, что фактически означало вторую ступень обучения из трех имеющихся: в училище было два класса, но первый подразделялся на два отделения – низшее и высшее [14].

В училище, находившемся в этом городе, братья успели пробыть лишь один год, здесь рядом с ними был и Саша Данилевский.

Летом 1819 г., перед самым экзаменом, Василий Афанасьевич забирает обоих сыновей из училища, решив подготовить их к поступлению в Полтавскую гимназию другим способом.

Он нанимает им учителя из гимназии, на квартире у которого они и живут. Затем происходит трагедия – умирает младший сын; случилось это не летом 1819 г., а позже – возможно, в следующем году (кстати, В. Шенрок называет именно 1820 г.) [15].

Николай очень нелегко перенёс этот удар, быть может, даже тяжелее, чем его родители. Мальчику трудно было готовиться к возвращению в Полтаву, где он прежде находился вместе с братом. Отец очень боялся за душевное состояние своего впечатлительного Никоши. Однако в это самое время черниговский прокурор Бажанов уведомил Василия Афанасьевича об открытии в другом городе, а именно – в Нежине, гимназии высших наук князя Безбородко и советовал ему поместить сына в находящийся при этой гимназии пансион. Таким вот образом выход из сложной ситуации был найден. Маленького Никошу удалось отвлечь от тяжелых мыслей, вывести из стресса. Переезд и смена обстановки сумели пойти на пользу. Гоголь, как потом выяснилось, любил переезды, сама дорога действовала на него оздоравливающе.

И вот начинается новая страница в жизни Никоши Гоголь-Яновского.

Григорий Данилевский сообщает: «В лицее Гоголь вскоре оправился, и из хилого, болезненного ребёнка стал весёлым и падким до разных потех и шалостей юношей» [16].

На всякий случай замечу, что нет никакой ошибки, когда одни авторы называют учебное заведение, в котором проходил обучение Гоголь, лицеем, другие – гимназией. Эта путаница возникает оттого, что первоначально открытая князем Безбородко «Гимназия высших наук» была преобразована потом в лицей (но это случилось уже после выпуска гоголевского курса).

Пантелеймон Кулиш замечает следующее: «По воспоминаниям его соучеников, Гоголь представляется нам красивым белокурый мальчиком, в густой зелени сада нежинской гимназии, у вод поросшей камышом речки, над которою взлетают чайки, возбуждавшие в нем грёзы о родине. Он – любимец своих товарищей, которых привлекала к нему его неистощимая шутливость, но между ними немногих только, и самых лучших по нравственности и способностям, он избирает в товарищи своих ребяческих затей, прогулок и любимых бесед, и эти немногие пользовались только в некоторой степени его доверием. Он многое от них скрывал, по-видимому, без всякой причины, или облакал таинственным покровом шутки. Речь его отличалась словами малоупотребительными, старинными и насмешливыми; но в устах его все получало такие оригинальные формы, которыми нельзя было не любоваться. У него все перерабатывалось в горниле юмора. Слово его было так метко, что товарищи боялись вступать с ним в саркастическое состязание. Гоголь любил своих товарищей вообще, и до такой степени спутники первых его лет были тесно связаны с тем временем, о котором впоследствии он из глубины души восклицал: «О, моя юность! о, моя свежесть!», что даже школьные враги его, если только он имел их, были ему до конца жизни дороги. Ни об одном из них не отзывается он с холодностью или неприязнью, и судьба каждого интересовала его в высшей степени» [17].

Обратимся теперь к гоголеведческим текстам Василия Гиппиуса, он лаконично и ёмко характеризует гимназическую среду нежинского учебного заведения.

«Из семьи – после недолгого пребывания в Полтавском училище – Гоголь (в 1821 году) поступил в Нежинскую гимназию высших наук. Школа – как школа, дала Гоголю не много, хотя была относительно не плохой. И здесь были люди, уже причастные к литературе – среди учителей и тяготевшие к ней – среди товарищей. Старозаветный профессор словесности Никольский был автором торжественных од и поэмы «Ум и рок»; молодой латинист Ив. Гр. Кулжинский только что начал выступать в печати, а в 1827 году выпустил целую книгу «Малороссийская деревня», в которой материал украинского фольклора, более или менее добросовестно подобранный, подвергся обработке в духе и стиле сентиментального украинофильства. Гоголь высмеял эту книгу в одном из писем, назвал ее «литературным уродом», но не заинтересоваться ею не мог. Среди товарищей Гоголя были будущие писатели – будущий драматург и романист Кукольник, старше его – будущий поэт и переводчик Любич-Романович и младше – писатель Гребенка; все они писали и в школьные годы, школьными писателями были и одно-

классники Гоголя: Прокопович и Базили. Школьные писатели разных классов объединялись, устраивали вечера с чтением и критикой своих писаний, издавали и журналы.

Любопытно, что недалёковидные товарищи, мирясь со стихотворными опытами Гоголя, забраковали его первую прозаическую попытку – повесть «Братья Твердиславичи». Приговор Базили был: «Беллетрист из тебя не вытанцуется. Это сейчас видно». Гоголь тут же разорвал и сжег свою повесть. Это было первое гоголевское сожжение» [18].

Пантелеймон Кулиш добавляет следующее: «Бывшие наставники Гоголя аттестовали его как мальчика скромного и «добронравного»; но это относится только к благородству его натуры, чуждавшейся всего низкого и коварного. Он, действительно, никому не сделал зла, ни против кого не ощетинивался жестокою стороною своей души; за ним не водилось каких-либо дурных привычек. Но никак не должно воображать его, что называется, «смирною овечкою». Маленькие, злые ребяческие проказы были в его духе, и то, что он рассказывает в «Мёртвых душах» о гусаре, списано им с натуры» [19].

*...Положение их было похоже на положение школьника, которому, сонному, товарищи, вставшие поране, засунули в нос гусара, т. е. бумажку, наполненную табаком. Потянувши впросонках весь табак к себе со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит, как дурак, выпучив глаза, во все стороны, и не может понять, где он, что с ним было, и потом уже различает озаренные весенним лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам, и глядящее в окно наступившее утро, с проснувшимся лесом, звучащим тысячами птичьих голосов, и с осветившеюся речкою, там и там пропадающею блестящими загогулинами между тонких тростников, всю усыпанную нагими ребятишками, зазывающими на купанье, – и потом уже, наконец, чувствует, что в носу у него сидит гусар [20].*

Эти «блестящие загогулины между тонких тростников» живо напоминают тому, кто знает местность Нежинского лица, протекающую мимо него тихую, поросшую камышами речку, а проснувшийся лес, звучащий тысячами птичьих голосов, есть не что иное, как тенистый, обширный сад лица, похожий на лес» [21].

Кулиш, помимо прочего, обозначает деталь, которая, возможно, стала поворотной точкой в формировании гоголевского творческого направления: «Воротясь однажды после каникул в гимназию, Гоголь привез комедию, писанную на малороссийском языке, которую играли на домашнем театре Трощинского, и сделался директором театра и актером. Кулисами служили ему классные доски, а недостаток в костюмах дополняло воображение артистов и публики. С этого времени театр сделался страстью Гоголя и его товарищей, так что, после предварительных опытов, ученики сложились и устроили себе кулисы и костюмы, копируя, разумеется, по указанию Гоголя, театр, на котором играл его отец. Гоголь не только дирижировал плотниками, но сам расписывал декорации» [22].

В январе 1824 г. Гоголь пишет родителям в Васильевку: «Пришлите мне полотна́ и других пособий для театра. У нас будет представлена пьеса «Эдип в Афинах», трагедия Озерова. Ежели можно прислать и сделать несколько костюмов, – сколько можно, даже хоть и один, но лучше ежели бы побольше; также хоть немного денег. Каждый из нас уже пожертвовал, что мог, а я еще только. Как же я сыграю свою роль, о том я вас извещу. Уведомляю вас, что я учусь хорошо, по крайней мере, сколько позволяют силы... Я думаю, дражайший папенька, ежели бы меня увидели, то точно бы сказали, что я переменялся, как в нравственности, так и успехах. Ежели бы увидели, как я теперь рисую! (Я говорю о себе без всякого самолюбия)» [23].

В Нежине, рядом с юным Николаем Васильевичем, находился его давний приятель Саша Данилевский, однако в первые гимназические годы место лучшего друга Гоголя занял старший сверстник – Высоцкий, которому, к сожалению, суждено будет рано умереть, но оставить в душе Гоголя благотворный след и даже повлиять на гоголевский литературный стиль.

Время было стародавнее, смертность всё ещё оставалась высока, медицина только зарождалась. Гоголю и сначала, и в последующие годы пришлось пережить немало тяжелых утрат,

что, конечно же, наложило отпечаток на его душу. Но юный Гоголь в первую очередь удивлял наблюдателей смесью ироничности, озорства, но в то же время и меланхолической задумчивости.

Кулиш сообщает: «Сходство вкусов сблизило Гоголя и товарища его Г.И. Высоцкого, ибо тот и другой отличались мечтательностью и комизмом. Все юмористические прозвища, под которыми Гоголь упоминает в своих письмах о товарищах, принадлежат Высоцкому. Он имел сильное влияние на первоначальный характер Гоголевых сочинений. Товарищи их обоих, перечитывая «Вечера на хуторе» и «Миргород», на каждом шагу встречают слова, выражения и анекдоты, которыми Высоцкий смешил их ещё в гимназии» [24].

Когда Высоцкий окончил курс и уехал в Петербург, Гоголь, скучая по нему, снова сдружился с Данилевским (который не всё время был в Нежинской гимназии высших наук, успев побывать в Московском университетском пансионе, но бросить его и опять вернуться в Нежин).

Высоцкий больше, чем кто бы то ни было другой, был вдохновителем, слушателем и, наверное, в какой-то мере и соавтором гоголевских комических импровизаций. Но обоих гимназистов «сроднила» и другая черта, на которую не обратили достаточного внимания биографы писателя. Говоря об общих интересах с Высоцким, Гоголь в том же письме прибавляет: «... вместе обдумывали план будущей нашей жизни». В 1825–1826 гг., когда в Гоголе совершалась глубокая внутренняя работа, Высоцкий находился в последнем классе. Это был первый выпуск в гимназии: через месяц-другой нескольким ее питомцам предстояло вступить в самостоятельную жизнь, что еще более обостряло интерес Гоголя к Высоцкому, да и ко всему его классу. Мысленно он ставил себя в положение старших, «проигрывал» применительно к себе ситуацию окончания гимназии и вступления на служебное поприще. Многие из сокровенных планов Гоголь открыл Высоцкому [25].

Совершенно по-особенному Гоголь сошёлся и с Прокоповичем. Эту дружбу они пронесут через всю жизнь. А завязал и укрепил её театр, тот самый театр, которым Гоголя заразил талантливый отец. И теперь всё больше и больше, хотя и не вполне осознано, а скорее интуитивно, Гоголь заражался театром, драматургия становилась настоящей страстью будущего автора «Ревизора» и «Женитьбы».

Один из гоголевских совоспитанников – Пащенко – вспоминал впоследствии: «На небольшой сцене лицеисты любили играть комические и драматические пьесы. Гоголь и Прокопович, задушевные между собой приятели, особенно заботились об этом и устраивали спектакли. Играли пьесы и готовые, сочиняли и сами лицеисты. Гоголь и Прокопович были главными авторами и исполнителями пьес. Гоголь любил преимущественно комические пьесы и брал роли стариков, а Прокопович – трагические. Вот однажды сочинили они пьесу из малороссийского быта, в которой немую роль дряхлого старика малоросса взялся сыграть Гоголь. Настал вечер спектакля, на который съехались многие родные лицеистов и посторонние. Пьеса состояла из двух действий. Гоголь должен был явиться во втором. Публика тогда еще не знала Гоголя, но мы хорошо знали и с нетерпением ожидали выхода его на сцену. Во втором действии представлена на сцене простая малороссийская хата и несколько обнаженных деревьев; вдали река и пожелтевший камыш. Возле хаты стоит скамеечка; на сцене никого нет. Вот является дряхлый старик в простом кожухе, в бараньей шапке и смазных сапогах. Опираясь на палку, он едва передвигается, доходит кряхтя до скамьи и садится. Сидит, трясется, кряхтит, хихикает и кашляет, да наконец захихикал и закашлял таким удушливым и сильным старческим кашлем, с неожиданным прибавлением, что вся публика грохнула и разразилась неудержимым смехом. А старик преспокойно поднялся со скамейки и поплелся со сцены, уморивши всех со смеху. Бежит за ширмы инспектор Белоусов: «Как же это ты, Гоголь? Что же это ты сделал?» – «А как же вы думаете сыграть натурально роль 80-летнего старика? Ведь у него, бедняги, все пружины расслабли, и винты уже не действуют, как следует». На такой веский аргумент инспектор и все

мы расхохотались и более не спрашивали Гоголя. С этого вечера публика узнала и заинтересовалась Гоголем как замечательным комиком» [26].

В другой раз «Гоголь взялся сыграть роль дяди-старика, страшного скряги. В этой роли Гоголь практиковался более месяца, и главная задача для него состояла в том, чтобы нос сходился с подбородком. По целым часам просиживал он перед зеркалом и пригибал нос к подбородку, пока наконец не достиг желаемого. Сатирическую роль дяди-скряги сыграл он превосходно, морил публику смехом и доставил ей большое удовольствие. Все мы думали тогда, что Гоголь поступит на сцену, потому что у него был громадный сценический талант и все данные для игры на сцене: мимика, гримировка, переменный голос и полнейшее перерождение в роли, какие он играл. Думается, что Гоголь затмил бы и знаменитых комиков-артистов, если бы вступил на сцену» [27].

Немалой силой драматизма, как единодушно замечали потом все мемуаристы, явилось исполнение юным Гоголем трудной, но интересной роли трагического злодея Креона. Тема греческих страстей сумела тронуть нежинского школяра, и вот на сцене не было и тени комических стариков, представленных Гоголем в других спектаклях. Гоголь обладал редким даром перевоплощения и тонкого понимания образов, которые изучал в процессе учёбы, в процессе театральных опытов, а потом и в процессе творчества своего, открывшего перед нами новый, удивительный мир.

Из тех друзей Гоголя, с которыми он сохранит тёплые отношения на долгие годы, нельзя обойти вниманием и Константина Михайловича Базили (1809–1884), в будущем известного дипломата и писателя, он родился в греческой семье, проживавшей в Константинополе; на его глазах в 1821 г. был учинен кровавый погром греческой общины, в ходе которой турками был повешен «вселенский» патриарх Григорий V; мальчику же вместе с семьёй чудом удалось спастись, спрятавшись в трюме корабля, среди тюков и иной поклажи. Впоследствии, когда Россия заботливо приютила греческих беженцев, Константин рассказывал обо всех этих событиях товарищам по гимназии, в том числе и Гоголю. Вначале Базили проживал в Одессе; потом в возрасте 12 лет вместе с другими спасшимися греческими мальчиками был принят в Нежинскую гимназию на казённый счет. К этому времени он уже получил хорошее образование, изучая дома, а затем в Одессе древнегреческую литературу и владея с детских лет французским языком. Но по-русски он не знал «ни полслова». Однако, как вспоминает его одноклассник И. Халчинский, «воля преодолела трудность и, к удивлению всех, через год Базили вдруг заговорил по-русски...» [28]. Еще через какое-то время Базили почувствовал потребность не только говорить, но и сочинять по-русски, и вот мы встречаем его у Редкина среди «постоянных посетителей» литературных вечеров. Больше того, есть сведения, что Базили вместе с Гоголем стал выпускать еще свой журнал – уже упоминавшуюся «Северную зарю». Название выдает явную ориентацию на петербургскую журналистику [29].



*Здание Гимназии высших наук в Нежине*

\* \* \*

Большинство воспоминаний сверстников Гоголя, бывших свидетелями его взросления, как и взрослых, имевших возможность наблюдать за детством будущего писателя, дают ему характеристики человека разностороннего, интересного и хотя, конечно же, со странностями, но в целом представляющего собой цельную, самобытную личность и, что важно, общительного человека, склонного к участию и помощи ближнему. Известен, к примеру, случай, когда подросток Гоголь проявил поистине зрелое благородство, сумев разобраться в сложной ситуации, которая сложилась после начала травли одного из преподавателей гимназии, заподозренного в вольнодумстве. Иные гимназисты проявили слабость и «дали показания» против своего преподавателя (на самом-то деле преданного профессии и стране, к тому же старавшегося дать воспитанникам истинные зёрна гуманизма). А юный Никоша держался твёрдо и на подлость не пошёл, встав на защиту молодого преподавателя. Таким же было и его отношение к товарищам.

Однако в гоголеведении подчас встречаются некие факты и воспоминания, которые призваны выставить Гоголя чем-то вроде гадкого утенка, ущербного чудака, которого трудно понять по причине его отчуждённости от людей и от мира, а также явной ненормальности. «Таинственный карла» – так будто бы сказал Саша Данилевский (если верить биографу), характеризуя подростковые странности Гоголя.

Некоторые исследователи биографии Гоголя совершенно искренне считают, что талантливый человек, а уж тем более наделённый таким незаурядным даром, просто не мог не быть отчуждённым и не понятым окружающими. Но тут какое дело. С одной стороны, чудачком-то Гоголь, конечно же, являлся, и, собственно говоря, некоторая степень отчуждённости тоже имела место, поскольку, как совершенно очевидно (особенно нам, потомкам), душевная организация Гоголя и свойства его личности выходили из ряда вон, и потому обычным-то ребёнком он просто не мог быть, и тут даже объяснять ничего не надо. Но с другой стороны, на то он и Гоголь, что в нём было соединено много противоположностей и удивительных особенностей, и потому Гоголь-подросток одновременно являлся общительным, но скрытно-таинственным, обидчивым, но великодушным, странным, но притягательным, одиноким, но окруженным друзьями и приятелями.

Гоголь – это человек-оксюморон, то есть обыкновенное чудо – соединение противоположностей, которые в любом другом случае были бы несовместимы, а здесь сыграли удиви-

тельно-замысловатую симфонию. И поэтому когда говорят, что Гоголь в детстве и юности был общительным, добрым, искромётным оригиналом, окружённым друзьями, то, пожалуй, и не лгут, но если кто-то скажет, что Гоголь был закрыт, даже замкнут, одинок и отчуждён – это тоже будет правдой. Другой вопрос – насколько это будет являться правдой? А это важно. Но процент правды никто нам не высчитает.

К тому же ко всему, если говорить откровенно об источниках характеристик Гоголя-подростка, занудой и гадким утёнком его аттестовал не раз упомянутый Саша Данилевский после того, как спустя время его отношения с Гоголем оказались испорченными. Гоголь и Данилевский долгие годы дружили, но после тридцатилетнего возраста стали постепенно расходиться, а в конце концов их разделила стена непонимания (Данилевский уверил себя в том, что Гоголь слишком вознёсся, принявшись всех поучать и надевать тогу духовного наставника). Факт этого расхождения, едва ли не конфликта Александра Семёновича с Николаем Васильевичем, к сожалению, повлиял на последующие воспоминания Данилевского о Гоголе, в том числе о детских годах Гоголя, когда у Саши с Никошей отношения были на самом-то деле совсем иными, чем в зрелости. И когда Александр Семёнович рассказывал гоголевскому биографу о Николае Васильевиче, то в Данилевском местами говорили обиды зрелых лет, которые, как выясняется, могут быть не менее едкими, чем детские обиды.

Однако чего-то, грубо выходящего за рамки приличий и морали, Данилевский всё же не говорил никогда. В нашем же распоряжении есть куда более интересный пример «показаний» о Гоголе, где выходы за рамки приличий всё ж таки имеют место. И тут будет немного забавный пунктик.

Итак, главным «источником», повествующим о том, каков был Гоголь недоумок и изгой, является Любич-Романович. Это ещё один соученик Николая Васильевича по Нежинской гимназии и более того – приятель, а временами даже и друг Гоголя. Их отношения имели многолетнюю историю, плавно перетекли из Нежина в Петербург, где оба юноши начинали взрослую жизнь и даже шалили, порой на пару, посещая разные петербургские заведения (и кое о чём у нас ещё пойдёт речь далее).

Но Любич-Романович тем не менее вспоминал о Гоголе с враждебными интонациями, порой доходящими до нелепости.

Когда пришла пора всенародного восхищения Гоголем, когда его слава заполнила собой все наши просторы, Любич-Романович, не желая вторить хору поклонников, предавался воспоминаниям, высмеивая «неряшливость» Гоголя, его «болезненность», его «неловкость», его «неуместный юмор», «физическую неприглядность», а ещё «хуторское происхождение». Любич-Романович причислял себя к аристократической партии в Нежинской гимназии, хотя его отец Игнатий Антонович был всего лишь ротмистром (чин в кавалерии, соответствующий капитану), но Гоголя относил к плебейам, «одnodворцам».

Так в чём же дело? Всё просто, до обидного просто. Любич-Романович сам по молодости лет, едва попав в блистательный Петербург, стал литератором (поэтом и переводчиком). Таланта, однако, было маловато, а если говорить честно – не было совсем. И я очень сомневаюсь, что кто-нибудь из читателей этой книги сумеет вспомнить хоть одно творение Любича-Романовича, в то время как «писанину» Гоголя помнят все.

Ох, как трудно порой простить чужую славу, чужой успех, чужую популярность, особенно если выпала она бывшему соседу по школьной парте, на которого хотелось смотреть лишь с насмешкой. Коварная штука – жизнь!

\* \* \*

Школьные дни Гоголя шли своей чередой, но в начале 1825 г. Никошу поразило известие о новой потере, это была смерть отца – Василия Афанасьевича. Теперь юному Гоголю пришла

пора становиться взрослее, сделаться более зрелым в своих чувствах, в своих переживаниях и в поступках своих. Мать Гоголя Мария Ивановна, неожиданно оставшаяся одна и перенесшая подряд тяжелые роды и катастрофу неожиданного вдовства, оказалась на грани отчаяния. Сын пишет ей письма, находя слова утешения, а она не может на них ответить, физически не может, поскольку в первые пару месяцев после потери мужа она не могла двигаться, не могла есть, не могла говорить. Её близкие боялись, что она навсегда останется немой, что она больше никогда не вернется к обычной жизни. Это было очень страшно. Когда Гоголь-подросток обо всем узнал, то переживал очень тяжело. Но у него больше не было возможности жалеть себя, он должен был пожалеть близких.

Примерно с этого времени начинается история нежной и заботливой опеки Гоголя над матерью и шефства, которое он уже скоро возьмёт над сестрёнками, заменив им родного отца. Какое-то время будет жива бабушка Татьяна Семёновна – мама Василия Афанасьевича, она, в меру ослабших сил, станет пытаться помогать в управлении имением и домом, но вскоре и она умрёт, оставив завещание в пользу внука Николая, которому отпишет половину имения, а оставшуюся часть велит разделить между тремя внучками. Гоголь, однако, подарит свою долю матери, и хотя она станет хозяйствовать довольно нерадиво, но он всю свою жизнь будет пытаться её поддержать, в том числе финансово.

Расхожий миф о том, что Гоголь несколько лет жил на деньги, которые высылала ему мать, не подтверждается. В гимназии Гоголь сумел перейти на казённое обеспечение (ещё при жизни отца), а в Петербурге наш молодой провинциал лишь первые несколько месяцев прибегал к помощи своей родительницы, а потом начал помогать ей сам. Дело в том, что старшая из сестёр вышла замуж за красивого и очень обходительного Павла Трушковского, он затеял в Васильевке кожевенный завод, влез в большие долги, но мигом разорился, нарвавшись на компаньона-мошенника. Долги повисли на шее Марии Ивановны, она заложила свою половину имения, а «разруливать» ситуацию в конце концов пришлось Гоголю. И подобного рода истории происходили нередко. Незадачливый зять рано умер (в 1836 г.) с тех пор женская половина гоголевского семейства могла рассчитывать только на Николая Васильевича. Но ещё до смерти Трушковского на Гоголе лежали все основные заботы о семье. Младшие сёстры были совсем детьми, Гоголь забрал их в Петербург, где в то время работал учителем в Патриотическом институте, и следил с тех пор за ними сам. И нужно заметить, его усилия не пропали даром, девочки сумели получить хорошее образование, создать семьи, не сделать роковых ошибок в своей жизни.

Впрочем, всё это произойдёт позднее, о судьбе сестёр и гоголевских племянников ещё пойдёт разговор в этой книге, пока же перед нами пятнадцатилетний подросток Николай, который ищет слова утешения для матери и мало-помалу становится взрослее.

В 1825 г. в сознании Гоголя происходит нечто, что он назовёт «переворотом». Это событие изменит многое и в гоголевском мире, и в литературном становлении Гоголя.

Здесь, пожалуй, можно опять процитировать Гиппиуса, он перечисляет юношеские литературные опыты Гоголя: «В последние три года гимназической жизни Гоголь немало писал и то и дело упоминал в письмах к матери о своих сочинениях. Говорит он даже о каком-то пережитом им литературном перевороте: «Сочинений моих вы не узнаете: новый переворот наступил их. Род их теперь совершенно особенный». Что же это были за сочинения и что за переворот? О них мы не знаем почти ничего, кроме названий, не знаем даже хронологии этих названий. Остается строить гипотезы, более или менее безответственные, что и делалось – но приводило к различным выводам. Вот эти названия и скудные о них данные: 1) «Две рыбки» – баллада, в которой автор изобразил судьбу свою и своего брата – очень трогательно; 2) «Разбойники» – трагедия, написанная пятистопными ямбами; 3) «Братья Твердиславичи» – славянская повесть, «подражание повестям, появлявшимся в тогдашних современных альманахах»; 4) «Россия под игом татар» (стихотворение или поэма), из которого по памяти матери

восстановлены начальные строки; 5) «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан» – сатира (в прозе) на разные сословия. Всё это утрачено: уцелело только два стихотворения [30].

Однако то жизненное поприще, которое уже скоро изберёт Гоголь, не было чётко осознано Гоголем до поры. Юный Николай Васильевич, несмотря на всё более и более серьёзное увлечение сочинительством и театром, всерьёз задумывался о сферах более основательных.

Вот юный Гоголь рассуждает о выборе профессии и жизненного пути в письме своему дяде П.П. Косяровскому, с которым сохранял добрые, доверительные отношения.

[Уважаемые читатели, здесь и далее прямую речь Гоголя, то есть цитаты из его писем и литературных произведений, буду выделять курсивом, все прочие свидетельства и комментарии – обычным шрифтом.]

Итак, Гоголь пишет: *«Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном – на юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я буду истинно полезен. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало моё сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не потерять, не сделав блага. Два года занимался я постоянно изучением прав других народов и естественных, как основных для всех законов; теперь занимаюсь отечественными. Исполнятся ли мои начертания? Или неизвестность зароет их в мрачной туче своей? В эти годы эти долговременные думы свои я затаил в себе. Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, что бы могло выявить глубь души моей. Да кому бы я пове-рил и для чего бы высказал себя? Не для того ли, чтобы смеялись над моим сумасбродством, чтоб считали пылким мечтателем, пустым человеком? Никому, и даже из своих товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно достойных»* [31].

А много лет спустя, когда принялся писать автобиографические записки, получившие затем название «Авторской исповеди», Николай Васильевич более подробно и обстоятельно рассуждает о своём становлении как личности и о профессиональном выборе: *«Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть моё поприще. Знаю только то, что в те годы, когда я стал задумываться о моём будущем (а задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаю человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь и все это доставит служба государственная. От этого страсть служить была у меня в юности очень сильна. Она пребывала неотлучно в моей голове впереди всех моих дел и занятий. Первые мои опыты, первые упражненья в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и серьёзном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками, хотя в самих ранних сужденьях моих о людях находили уметь замечать те особенности, которые ускользают от вниманья других людей, как крупные, так мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но угадать человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление»*.

*Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе всё смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения. <...>*

*Мысль о службе у меня никогда не пропадала. Прежде чем вступить на поприще писателя, я переменял множество разных мест и должностей, чтобы узнать, к которой из них я был больше способен; но не был доволен ни службой, ни собой, ни теми, которые надо мной были поставлены. Я ещё не знал тогда, как многого мне недоставало затем, чтобы служить так, как я хотел служить. Я не знал тогда, что нужно для этого победить в себе все щекотливые струны самолюбья личного и гордости личной, не забывать ни на минуту, что взял место не для своего счастья, но для счастья многих тех, которые будут несчастны, если благородный человек бросит свое место, что позабыть нужно обо всех огорчениях собственных. Я не знал еще тогда, что тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства, – нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином во всем смысле этого слова. А потому и немудрено, что, не имея этого в себе, я не мог служить так, как хотел, несмотря на то что сгорал действительно желаньем служить честно. <...>*

*Мне не хотелось даром тратить силу. С тех пор как мне начали говорить, что я смеюсь не только над недостатком, но даже целиком и над самим человеком, в котором заключен недостаток, и не только над всем человеком, но и над местом, над самой должностью, которую он занимает (чего я никогда даже не имел и в мыслях), я увидел, что нужно со смехом быть очень осторожным, – тем более что он заразителен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже вослед за ним тот, кто потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сторонами дела. Словом, я видел ясно, как дважды два четыре, что прежде, покамест и не определю себе самому определительно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя приступить; а чтобы определить себе русскую природу, следует узнать лучшую природу человека вообще и душу человека вообще: без этого не станешь на ту точку зрения, с которой видятся ясно недостатки и достоинства всякого народа.*

*С этих пор человек и душа человека сделались, больше чем когда-либо, предметом наблюдений. Я оставил на время всё современное; я обратил внимание на изучение тех вечных законов, которым движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. <...> Итак, на некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека вообще» [32].*

\* \* \*

В последние месяцы и особенно в последние недели пребывания Гоголя в стенах нежинской альма-матер Николай Васильевич был, как никогда, задумчив и углублён в себя, это замечали все. Когда же выпорхнул из стен учебного заведения, то лишь ненадолго приехал погостить в Васильевку, а потом, несмотря на зиму, надвигавшуюся на Русь-матушку, отправился в Петербург, на покорение столичных вершин. Спутником его был Саша Данилевский.

Софья Скалон, в ту пору – девица, жившая в соседнем поместье, неподалёку от имения Гоголей-Яновских, спустя много лет рассказывала: «Помню Гоголя и молодым человеком, только что вышедшим из Нежинского лицея. Он так же был серьезен, но только с более наблюдательным взглядом. Ехав в Петербург и прощаясь со мною, он удивил меня следующими словами: «Прощайте, Софья Васильевна! Вы, конечно, или ничего обо мне не услышите, или услышите что-нибудь весьма хорошее». Эта самоуверенность нас удивила в то время, как мы ничего особенного в нём не видели» [33].

## Глава вторая. Знакомство с Петербургом и таинственная влюблённость

Юность не любит ожиданий, юность не терпит промедления. Гоголь достаточно размышлял. Решено – сделать надо много важного и прекрасного, оставалось лишь в точности наметить – как именно это осуществить? И вот Саша Данилевский избрал для себя военную карьеру и спешил в Петербург для поступления в школу гвардейских подпрапорщиков, ну а Гоголь всё же избрал движение по стезе статской службы, рассчитывая для начала найти место в одном из петербургских департаментов.

Было условлено, что друг заедет за Гоголем в Васильевку, откуда они собирались вместе отправиться в дальний путь. Дело было в декабре 1828 г. Для дороги приготовили поместительный экипаж, и после продолжительных проводов и напутствий родных и близких кибитка двинулась [34].

Приятели поехали по белорусской дороге, на Нежин, Чернигов, Могилёв и Витебск. В Нежине прожили несколько дней, повидались с некоторыми товарищами и, между прочим, с не успевшим выехать в Петербург же Прокоповичем. По мере приближения к столице нетерпение и любопытство путников возрастало с каждым часом. Наконец издали показались бесчисленные огни, возвещавшие о приближении к городу на Неве. Дело было вечером. Обоими молодыми людьми овладел восторг: они позабыли о морозе, то и дело высовывались из экипажа и приподнимались на цыпочки, чтобы получше рассмотреть столицу. Гоголь совершенно не мог прийти в себя; он страшно волновался и за свою пылкость поплатился тем, что схватил простуду. Но особенно обидная неприятность была для него в том, что он, отморозив нос, вынужден был первые дни просидеть дома. Он чуть не слег в постель, и Данилевский перепугался было за него, опасаясь, чтобы он не разболелся серьёзно. На последней станции перед Петербургом наши путники прочли объявление, где можно остановиться, и выбрали квартиру, где и пришлось Гоголю проскучать несколько дней в одиночестве, пока Данилевский, оставив его одного, пустился странствовать по Петербургу. Неудивительно, что первые впечатления, вынесенные им из знакомства с Петербургом, были несравненно отраднее, нежели у Гоголя [35].



*Вид на Нежин*

Стоит ли говорить, что, попав на берега Невы и немного оклемавшись, юный Гоголь буквально горел желанием увидеть одно замечательное лицо, проживавшее здесь и недурственно, весьма недурственно писавшее стихи.

Павел Васильевич Анненков, ставший впоследствии товарищем Гоголя, припоминал любопытный эпизод: «Тотчас по приезде в Петербург Гоголь, движимый потребностью видеть Пушкина, который занимал всё его воображение ещё на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликёра. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: «Дома ли хозяин?», услышал ответ слуги: «Почивают!» Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «Верно, всю ночь работал?» – «Как же, работал, – отвечал слуга, – в картишки играл». Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения» [36].

Впрочем, обожание Пушкина если и подверглось испытанию в гоголевской душе, то длилось оно недолго, поскольку было легко пройдено, Николай Васильевич продолжал любить художника Пушкина, мастера Пушкина, а уж когда наконец сошелся с ним ближе, то полюбил и человека Пушкина.

Однако до поры та сфера, в которой вращался Гоголь, не была близка к пушкинской. Юный Николай Васильевич вынужден начинать с самых низов.

В Петербурге Гоголь осматривается, выбирая поприще, которое позволило бы ему начать серьёзное дело, однако неудачи следуют одна за другой. На службу поступить поначалу не удаётся, Гоголь хлопочет, имея рекомендательные письма от друга семьи Гоголей-Яновских Д.П. Трошинского к министерскому сановнику Л.И. Кутузову.

Как впоследствии вспоминал Александр Данилевский, приём у Кутузова, оказанный Гоголю, был неплохим, петербургский вельможа не стал излишне церемониться, сразу перешел с Гоголем на «ты» и пригласил его часто бывать у себя запросто, хотя этим почти всё и ограничилось [37].

Но у Гоголя была особенность: если не удалось одно, тотчас брался за другое. И первое, к чему он обратился помимо поисков службы, была литература [38].

Да, нередко бывает так, что негативный опыт и неудачи толкают человека на новые пути, и вот мало-помалу Николай Васильевич начинает делать первые шаги на этом поприще. Скрывая поначалу от друзей свои намерения, Гоголь всё же дописывает поэму «Ганц Кюхельгартен», которую сам он обозначил как «идиллию в картинах». Написана она была, судя по всему, ещё в Нежине, во всяком случае в первоначальном своём варианте. Вскоре наш поэт дорабатывает её и начинает хлопотать об издании, желая представить новинку на суд публики. Однако молодой Гоголь опасается печатать сочинение под настоящим именем. Пробный шаг был сделан *incognito*. А поначалу в журнале «Сын Отечества» (который потом будет иронически упомянут Гоголем в «Мёртвых душах») появляется стихотворение «Италия», вовсе без подписи.

Среди гоголеведов утвердилось предположение, что «Италия» представляет собой фрагмент первоначальной редакции «Ганца Кюхельгартена», поскольку восторженное обращение поэта к этой стране явственно напоминает «пышные грезы Ганца о Греции и Индии» [39].

Гоголь отослал стихотворение, желая узнать лишь, опубликуют ли его. Оно было опубликовано сразу же. Теперь наш юный поэт становится смелее, но имени своего пока раскрывать не решается и придумывает псевдоним. Так, в русской литературе появился некто Алов.

Что же собой представляла поэма, названная идиллией? Каков был сюжет дебютного гоголевского произведения?

Поэма была о любви, причём о счастливой разделённой любви, которой удаётся преодолеть тяжкие испытания и состояться, соединив воедино два любящие сердца.

Главный герой поэмы, имя которого дало ей название, юный Ганц испытывает трепет душевный, предаётся метаниям, ведь судьбой ему послано испытание – выбирать между любовью к простенькой деревенской девушке Луизе и жадной славой. Поначалу герой делает выбор в пользу амбиций, стремится найти успех и пускается в широкий свет, но вскоре узнаёт, что люди холодны, и возвращается к своей Луизе.

Сюжет сей мил, но банален. Практически всеми, в том числе и самим Гоголем, поэма-идиллия была признана неудачей и до сих пор таковой аттестуется. Увы и ах, никто не спешил покупать книжек, на страницах которых была напечатана гоголевская дебютная вещь. Критики, однако, поэму заметили, но для того лишь, чтобы обругать.

Поэма так и не была оценена современниками, потомками тоже не воспета, до сих пор считается «скоромным юношеским опытом», охарактеризованная как «неудачный старт». Поэма сия – пафосная, вычурная, восторженная, но в самом-то деле она прекрасна, поскольку создана рукой гения, и может быть она вдвойне замечательна тем, что создавал её юный гений, не утративший ещё ни иллюзий первой молодости, ни свежести ранних чувств, ни восторженности.

По прошествии десятилетий, когда отзвучали и первые неодобрительные возгласы в адрес гоголевского дебюта и пышные похвалы в адрес его последующих произведений, появились взвешенные и, главное, дельные опыты критики дебютной вещи молодого Гоголя.

Перечитывая Василия Гиппиуса, я нашёл у него весьма неплохой, а главное, информативный фрагмент критического анализа «Ганса Кюхельгартена», и эта информативность важна для нас не только и не столько с литературоведческой точки зрения, куда важнее то, что она даёт кое-какие сведения и о личностном аспекте автора поэмы-идиллии, то есть ценнейшие крупинки понимания внутреннего мира нашего поэта, нашего Гоголя, тогда ещё наивного и неискушённого.

Василий Гиппиус замечает, что юный сочинитель создаёт художественный образ мечтателя, во многом, хотя и не во всём, близкого себе: «Герой его первой поэмы – или, как он ее симптоматически назвал, идиллии – «Ганц Кюхельгартен». Ганца ждет тихое счастье в идиллической семье, с любимой Луизой, дочерью мызника и внучкой пастора, но он томим «думою неясной», мечтами о классической Греции и романтической Индии, и бежит от этой идиллии – бежит, чтобы после скитаний по чужбине – в ту же идиллию вернуться. Вот несложный сюжет поэмы, которая важна не сюжетом, а той психологией героя, которую Гоголь скорее намечает, чем раскрывает. Было бы бесполезно искать определённого литературного прототипа для Ганца. Кое в чем – в образе старого пастора, в картине семейного уюта, в отдельных словосочетаниях здесь отразилась идиллия Фосса «Луиза», которую Гоголь мог читать в русском стихотворном переводе Терьева» [40].

Не случайно он выбрал местом действия Германию и закончил поэму прославлением Германии и «Великого Гёте», знакомого ему не по одним урокам Зингера, но и по тому культу Гёте, которым насыщен был «Москов. вестник». Сходство между «Ганцем Кюхельгартемом» и нежинскими письмами Гоголя отмечалось не раз. Меньше обращали внимания на их различие. И здесь, и там существователям «как тварь презреннейшая, низким», *черни* (выражение и писем, и поэмы) противопоставлен возвышенный мечтатель, в котором «желанье блага и добра» – мысль о своей миссии тесно сплетена с гордым индивидуализмом, гордой надеждой на «благословение потомков» и боязнью «существования не отметить» (буквальное совпадение поэмы с письмами). Но Гоголь свои мечты ограничивает готовой формой (государственная служба) – формой, ему чуждой и вряд ли не внушенной традицией, – а о том, что ему свойственно, забывает или умалчивает. У Ганца в его *Sehnsucht* – нет никакой цели:

...но чего,  
В волненьи сердца своего,

Искал он думою неясной,  
Чего желал, чего хотел,  
К чему так пламенно летел  
Душой и жадною и страстной,  
Как будто мир хотел обнять, -  
того и сам не мог понять.

Интуитивно создавая своего неясного, но эстетически настроенного Ганца, Гоголь и этой неясностью, и этим эстетизмом мог больше приблизиться к пережитому лично, чем в своей рассудочной корреспонденции. В идиллии Гоголя очень важна ее развязка. Ганц, как и Гоголь, индивидуалист. «Дума», вошедшая в картину XVII, рисует идеальный образ героя, который служит «шумному миру», не смущаясь его шумом [41].

Вотще безумно чернь кричит:  
Он тверд среди сих живых обломков,  
И только слышит, как шумит  
Благословение потомков.

Противоположение – вошедшее в традицию еще до пушкинских ямба и сонета. Не стоит вспоминать ни о Горации, ни даже о Державине – достаточно назвать Жуковского и его послание кн. Вяземскому и В. Пушкину («Друзья, тот стихотворец – горе». Рос. Музеум, 1815), которое и заканчивается той же надеждой на потомков в ритмически подобной строке. Гоголем эта традиционная антитеза была, несомненно, лично пережита, дальнейшие личные судьбы и творческие приемы Гоголя показывают, что индивидуалистические фразы его юношеских писем не были только фразами. И вот оказывается, что в Ганце, который построен на том же конфликте личности и черни, этот индивидуализм поколеблен [42].

С самого начала видно, как двоится сочувствие поэта между странным Ганцем и добрым Вильгельмом Баухом и его добрыми домочадцами. Его обывательский уют нарисован красками даже соблазнительными, хотя как раз заимствованными у Фосса: клохчущие индейки, желтый вкусный сыр, сладкий бишеф, коричневые вафли – все это фоссовское [43]. Ганц, оставивший мызу, назван «тираном жестоким», а через несколько картин изображен уже разочарованным и в людях, и в славе:

Его влекла, тянула слава,  
Но ложен чад ее густой,  
Горька блестящая отрав.

Конечно, «Лорд Байрон был того же мнения, Жуковский то же говорил», но в выводе гоголевский герой следует не Байрону, а именно Жуковскому – его Эсхину, возвратившемуся к пенатам и убежденному квиетизмом верного пенатам Теона (прямо противоположную развязку при той же основной композиции дает Батюшков в «Странствователе и домоседе»). Индивидуалистическая «дума» была, как оказывается, только поводом, чтобы задать – в первый, но далеко не последний раз в гоголевском творчестве – вопрос:

Когда ж коварные мечты  
Взволнуют жаждой яркой доли,  
А нет в душе желанной воли,  
Нет сил стоять среди суеты, -  
Не лучше ль в тишине укрожной

По полю жизни протекать,  
Семьей довольствоваться скромной  
И шуму света не внимать?

Развязка «Ганца» отвечает – «да, лучше». Ганц возвращается к «неяркой доле», к Луизе, называет себя «безумным, бестолковым», отбрасывает – хоть и не без легкой грусти – «коварные мечты». Поэма действительно превращается в идиллию, в идеализацию «существователей». Художественные образы, конечно, не доказывают каких-нибудь определённых итогов сознания, но случайными тоже быть не могут, и мы вправе сказать, что идеализация мызы близ Висмара или, что то же, хутора близ Диканьки – одна из возможностей, которые представились сознанию Гоголя. Гоголь крепко сросся с традицией, средой, почвой, и попытки отталкивания от них неизбежно перебивались в нем с новыми и новыми притяжениями. Этим в значительной мере определяется его личная драма. Счастливая развязка первой идиллии Ганца – первое о ней показание [44].

Биографы Гоголя ставят в связь с «Ганцем» первую, несколько загадочную поездку Гоголя за границу. Невозможно, конечно, думать, что Гоголь просто повторил в жизни то, что изобразил в поэме, тем более что к своему герою он умел отнестись со стороны, а в самые мечты свои вкладывал какое-то определённое, даже практическое – хотя нам и не вполне ясное – содержание, чего не было у Ганца. Мы видели, что поездку за границу он задумал ещё в Нежине. Его сообщником был Высоцкий, который, уехав в Петербург, хлопочет вместе с кем-то нам неизвестным об устройстве этой поездки [45]. Планы Гоголя, как видно по письмам, колебались, мы не знаем подробностей, знаем только, что через несколько месяцев по приезде в Петербург Гоголь сообщает матери, что смерть какого-то «великодушного друга» расстроила «прекрасный случай ехать в чужие края».



*Вид на набережную Невы. Художник П.П. Верещагин*

С «Ганцем Кюхельгартемом» Гоголь, как видно, всерьёз связывал надежды выбиться из «чёрной квартиры неизвестности», но товарищи Гоголя, убедившие его писать не прозой, а стихами, оказали Гоголю плохую услугу [46].

\* \* \*

Первый литературный опыт Гоголя может являться интересным для нас ещё и тем, что рукопись относительно легко преодолела цензуру, была без затруднений напечатана и сразу же попала в книжные лавки. Последующие гоголевские публикации ждала более трудная участь на цензурном перевале.

7 мая в Санкт-Петербургский цензурный комитет, как гласил реестр, поступила рукопись «на 36 листах под заглавием «Ганц Кюхельгартен» идиллия в картинах писана в 1827 соч. Алова от студента Гоголь-Яновского» [47]. В тот же день последовало цензурное разрешение. 5 июня книга была уже напечатана, и Гоголь получил от цензора К.С. Сербиновича билет на выпуск ее в продажу. Из первых экземпляров книги Гоголь послал один Плетнёву, а другой в Москву Погдину. Ни с тем, ни с другим он не был знаком. Книги были посланы incognito в расчете на то, что оба адресата их прочтут, высоко оценят, а там и выяснится, кто автор... Это говорит о том, сколь многого ожидал Гоголь от своего детища. (Ни Плетнёв, ни Погдин, однако, поэмой не заинтересовались, и она так благополучно и пролежала в книжных завалах, пока после смерти Гоголя не выяснилось её авторство.) Сведений о том, что Гоголь послал книгу и Пушкину, нет: возможно, так и не решился... Через несколько дней книга поступила в продажу в Петербурге, а чуть позже – и в Москве. 26 июня «Московские ведомости» сообщили, что у Ширяева продаётся книжка В. Алова, «полученная на сих днях из Петербурга». И почти сразу же появилась убийственная рецензия в журнале Н.А. Полевого «Московский телеграф» [48]. Критик обратил гоголевскую «формулу скромности» против самого автора и нанёс удар наотмашь, со всей силой: «Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на Алова не было предназначено для печати, но что важные для одного автора причины побудили его переменить своё намерение. Мы думаем, что ещё важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии» [49].

Прошло около трёх недель, и Гоголь получил новый удар – от петербургской газеты «Северная пчела». Ее отзыв, опубликованный в № 87 от 20 июля, казался поначалу чуть-чуть мягче: в сочинителе признавалось «воображение и способность писать (со временем) хорошие стихи»; но в итоге рецензент приходил к таким же неутешительным выводам, что и «Московский телеграф»: «В «Ганце Кюхельгартене» столь много несообразностей, картины часто так чудовищны и авторская смелость в поэтических украшениях, в слоге и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия попытка юного таланта залежалась под спудом». И Гоголь понял, что это катастрофа. Вместе со своим слугой Якимом он отправился по книжным лавкам и у продавцов, которым только недавно отдал поэму на комиссию, отобрал все наличные экземпляры. Нести весь этот груз домой автор побоялся: в одной квартире с ним в доме каретника Иохима на Мещанской проживал Прокопович, приехавший недавно в Петербург после окончания Нежинской гимназии. Как и ото всех остальных, Гоголь держал от Прокоповича в строжайшей тайне своё предприятие, хотя тот кое о чём догадывался... Он даже знал (или, вернее, узнал потом), где происходило истребление «Ганца Кюхельгартена». Гоголь снял комнату в гостинице, находившейся на углу Вознесенской улицы у Вознесенского моста, по указанию современных исследователей – это гостиница «Неаполь» [50], заперся и сжёг все до одного экземпляры [51].

Книготорговец Лисенков впоследствии вспоминал обстоятельства, при которых впервые познакомился с Гоголем, сообщая нам следующее:

«Гоголь был такой молчаливый и таинственный, что напечатал он в первый раз своё сочинение «Ганц Кюхельгартен или картины», принёс ко мне на продажу и через неделю спросил – продаются ли? Я сказал, что нет, он забрал их – и только и видели; должно быть, печка поглотила и тем кончилось» [52].

Уцелеть сумели лишь те самые книжки, которые Гоголь анонимно разослал нескольким петербургским литераторам в тот момент, когда поэма только вышла и ещё не была обругана критиками.

Про Якима, кстати, тоже нужно сказать хоть пару слов, ведь он ещё не раз мелькнёт в хронологии. В некоторых источниках пишут – Аким. Сёстры Гоголя, чаще всего, называли его слугу именно так.

Оказавшись рядом с Гоголем в моменты его первых битв за место в истории, Яким, пожалуй, был подобен верному оруженосцу Санчо Пансе. Кстати, и самого Гоголя, в последующем, иные историки и литературоведы назовут Дон Кихотом. Этот образ возникнет, когда биографы начнут биться, пытаясь выяснить: чем же и кем был Гоголь в этой жизни, чем стало его слово, прозвучавшее так громко и так удивительно, за что боролся он, растрачивая силы жизни? И хотя позиция тех литературоведов, что попытаются использовать метафорический образ Дон Кихота, не окажется по-настоящему убедительной и верной, но метафора эта всё же приживётся в гоголеведении, и нет-нет да и возникает теперь имя того замечательного дона, родом из Ламанчи, когда речь заходит о Гоголе. Хотя наш-то Дон Кихот – из Диканьки.

О гоголевском Санчо Пансе сведения биографов не слишком подробны, но кое-что известно, В.П. Горленко аттестовал его так: «В 1829 году, когда Яким Нимченко, слуга Гоголя, выехал с ним в Петербург, Якиме было лет 26. Он был при Гоголе лакеем и поваром, жил сначала один, потом с женою. Поварскому искусству учился в Орловской губернии, у помещика Филиппова, куда отдан был ещё отцом Гоголя» [53].

\* \* \*

Таков первоначальный круг обстоятельств, на фоне которого разворачивается пребывание юного Николая Васильевича в Северной столице. И уже в это время он начинает работу над фрагментами повестей, посвященных малороссийской тематике, но главным его занятием является знакомство с Петербургом. Картинки города, нравы города, лица, настроения – их исследование делается главным трудом и развлечением одновременно.

Посещая столичные парки, церкви, заведения, Гоголь встречает предмет своей первой влюблённости, находит объект того чувства, которое, к сожалению, постигает такая же неудача, как и первый опыт издания крупного произведения. Фальстарт на литературном поприще и неудача в любви толкают Гоголя к бегству из Петербурга, принявшего юного покорителя совсем неласково.

Оба этих факта (влюблённость Гоголя в некую даму и отъезд его за границу) имеют в гоголеведческой литературе очень спорные толкования, суть этих событий трактуют по-разному.

Во-первых, некоторые биографы пытаются оспаривать сам факт наличия той дамы (или девицы), о коей Гоголь напишет в своём письме в Васильевку. Те исследователи жизни писателя, что стремятся подравнять его жизнь под версию о ненормальности, некоторой ущербности и скудости любовных чувствований Николая Васильевича или, пуще того, навесить на писателя подозрения в каких-то отклонениях, бьются об заклад, что никакой и дамы-то не было, что всё это обман и надувательство, что не любил никого тот автор неудавшейся юношеской поэмы, а целиком и полностью врёт! Да-да, есть такие исследователи, которые считают, что они лучше самого Гоголя могут знать о том, что чувствовал Гоголь и что владело Гоголем.

Во-вторых, самому отъезду Гоголя в Любек придают черты чего-то ненормального, сумасшедшего, по крайней мере – глупого, иррационального, вздорного.

Добросовестные гоголеведы, разумеется, удивляются подобному подходу. Тот же Василий Гиппиус, к примеру, размышляет таким вот образом: «Через несколько дней после рецензии «Северн. пчелы» Гоголь пишет матери, что решил ехать за границу. Уже в этом письме

дано сразу несколько объяснений поездке – позже прибавятся и новые: здесь и желание «воспитать свои страсти в тишине», чтобы «рассеивать благо и работать на пользу мира», то есть то, что задумано было в Нежине – и нежелание «пресмыкаться» на службе, и глухой намёк на «неудачи» (прямо о неудаче с «Ганцем» не сказано), и, наконец, потребность «бежать от самого себя» – от несчастной и мучительной любви к женщине, которую он считает «слишком высокой для себя» [54].

Далее Гиппиус продолжает: «Гоголю привыкли не верить и считать всё, что он говорит о себе – если об этом не знал Данилевский или Прокопович – мистификацией. Но спрашивается, во-первых, – желая мистифицировать, неужели мистификатор не сумел бы сделать это более расчётливо, не громоздя один мотив на другой? во-вторых, – почему мотив человеческого поступка должен быть непременно один? и в-третьих, – что невероятного в том, что Гоголь пережил безнадежную влюблённость? тем более, что общеизвестно его письмо, написанное Данилевскому о том, как он два раза был близок к «пламени», «пропасти» любви и оба раза твердая воля преодолевала его желание. Но биографам была нужна легенда о никогда не любившемся Гоголе» [55].

Письмо Гоголя Данилевскому, о котором упоминает Гиппиус, является чрезвычайно важным документом для прояснения нюансов гоголевской биографии, содержание этого письма нам ещё предстоит проанализировать очень подробно, когда дойдём мы до кульминационного момента нашего исследования. Ну а здесь необходимо остановиться на выяснении содержания того письма, о котором Гиппиус упомянул выше, то есть письма Гоголя к матери Марии Ивановне, оно датировано 24 июля 1829 г. Текст его стал одним из наиболее цитируемых в гоголеведении эпистолярных произведений Николая Васильевича, но беда в том, что он довольно объёмен, и потому биографы обычно приводят лишь несколько вырванных из контекста фраз. Я процитирую письмо более подробно, лишь с некоторыми сокращениями. Итак, вот что юный Николай Васильевич решился открыть матери:

*«Маменька, дражайшая маменька! Я знаю, вы одни истинный друг мне. Одним вам я только могу сказать... Вы знаете, что я был одарён твердостью, даже редкою в молодом человеке... Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости? Но я видел её... нет, не назову её... она слишком высока для всякого, не только для меня.*

*Я бы назвал её ангелом, но это выражение некстати для неё. Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлется в сердце, глаза, быстро пронзающие душу, но их сияния, жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков. О, если бы вы посмотрели на меня тогда!.. Правда, я умел скрывать себя от всех, но укрылся ли от себя? Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешнику уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была... я по крайней мере не слышал подобной любви. В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний, я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я... Взглянуть на неё ещё раз – вот бывало одно-единственное желание, возраставшее сильнее (и) сильнее, с невыразимой едкостью тоски. <...>*

*Это было божество, Им созданное, часть Его же самого. Но, ради Бога, не спрашивайте её имени! Она слишком высока, высока!*

*Итак я решился. Но к чему, как приступить? Выезд за границу так труден, хлопот так много. Но лишь только я принялся, всё, к удивлению моему, пошло как нельзя лучше; я даже легко получил пропуск. Одна остановка была наконец за деньгами; но вдруг получаю следующие в Опекунский совет. <...>*

*Не огорчайтесь, добрая, несравненная маменька! Этот перелом для меня необходим. Это училище непременно образует меня. Я имею дурной характер, испорченный и избалованный нрав (в этом признаюсь я от чистого сердца); лень и безжизненное для меня здесь пребы-*

*вание непременно упрочили бы мне их на век. Нет, мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новой жизнью, расцвести силою души в вечном труде и деятельности; и если я не могу быть счастлив (нет, я никогда не буду счастлив для себя: это божественное существо вырвало покой из груди моей и удалилось от меня), по крайней мере всю жизнь посвящу для счастья и блага себе подобных.*

*Но не ужасайтесь разлуки: я не далеко поеду. Путь мой теперь лежит в Любек.*

*Принося чувствительнейшую и невыразимую благодарность за ваши драгоценные известия о малороссиянах, прошу вас убедительно не оставлять и впредь таковыми письмами. В тиши уединения я готовлю запас, которого порядочно не обработавши, не пушу в свет. Я не люблю спешить, а тем более занимать поверхностно» [56].*

\* \* \*

Такое вот выдалось письмо. Эмоциональное, пафосное. Однако Гоголь, как видно по всему, именно такой настрой имел в своей душе в данный период и выражал в письме этом и в ранее созданной идиллии именно то, что им владело, юным Гоголем. То есть это была не намеренная театральность какая-то, не нарочитая фальшь, а проявление пускай и усиленное гоголевской специфической и странной горячностью, но проявление действительных метаний, чувствований и, конечно же, иллюзий, но всё-таки скорее искренних, чем наигранных.

Далее нам, пожалуй, необходимо подробно поговорить о том, чего, конечно же, ждёт немалая часть читателей этой книги, то есть коснуться одной из наиболее деликатных, но очень и очень замусоренных ненужными мифами сфер гоголевской биографии.

Перебирая множество вариантов решения этой проблемы, то есть составляя подряд несколько черновиков данной главы, я всё никак не мог выбрать именно тот вариант, который был бы добросовестным рассуждением об этом предмете, но вместе с тем достаточно открытым. И вот в конце концов, перечитывая гоголеведов, пришёл к тому, чтоб поместить здесь отрывок из книги Юрия Манна «Гоголь. Книга I. Начало». Этот фрагмент содержит в себе местами чуть грубоватую, но, пожалуй, необходимую нам степень откровенности в ответах на такие вопросы, которые то и дело звучат со стороны обывателей. К примеру, многих и многих интересует вопрос: «Спал ли Гоголь с женщинами в жизни своей?»

Зачем нам всем сдался ответ на этот вопрос – кто бы знал!

С другой стороны, без лишних объяснений ясно – зачем разбираться в вопросе: «Была у Гоголя серьёзная любовь в жизни?» Этому вопросу я посвятил свою книгу и, надеюсь, сумею дать для вас обоснованный ответ на него. Но зачем нам заниматься чем-то не совсем приличным и залезать в корзину с бельём? В самом деле – зачем? Трудно ответить без лукавства, но для чего-то же нам это надо, раз столько суеты вокруг этого и столько толков.

Всякий раз принимаясь говорить об этом, мы изобретаем много причин, много разных поводов, утверждаем, будто это весьма важно для понимания гоголевского творчества и всего того феномена, что зовётся Гоголем. И хотя на самом деле сей подход не совсем верен (и не вполне честен), поскольку на такого человека, как Гоголь, вернее, на такую творческую личность, на такого художника, как Гоголь, каждый из факторов обыденности и личной жизни может влиять как угодно, и всегда не по шаблону, нестандартно... но тем не менее раз уж всем нам так необходим ответ на сформулированный чуть выше вопрос, то постараемся прояснить и его.

Дадим слово Юрию Манну, он пишет: «Теперь о любовном переживании. Первый гоголевский биограф принял эту мотивировку («Он влюбился в какую-то девушку или даму, недоступную для него в его положении» [57]); большинство же последующих ее отвергли, ссылаясь на то, что подтверждений этой версии не находится. «...Сколько ни припоминал А.С. Данилевский, всё его [Гоголя] душевное состояние и самое поведение в то время нисколько не

подтверждали это невероятное сообщение» [58]. Считалось, что Гоголь вообще был неспособен к любви, что за всю свою жизнь он не испытал «ни одной сильной привязанности к женщине» [59]. Говорилось и о физиологических аномалиях писателя, по причине которых он вообще не знал женщин. Вопросы деликатные, но обойти их в биографической книге невозможно.

Есть одно место из письма Гоголя к матери, которое проливает некоторый свет на его чувственные переживания в юношеские годы: *«Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке... Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости»*. Это заставляет думать, что Гоголь прежде крепко держал на привязи свои чувства и страстное увлечение перед поездкой за границу – первое в своем роде [60].

Спустя три года Гоголь делает глухое признание, позволяющее думать, что он снова испытывает нечто подобное. В это время А.С. Данилевский, живший на Кавказе, увлёкся замечательной красавицей, родственницей Лермонтова Эмилией Александровной Клингенберг (впоследствии Шан-Гирей). Надеясь на этот роман, Гоголь писал другу 10 марта 1832 г.: *«Может быть, ты находишься уже в седьмом небе и оттого не пишешь. Чорт меня возьми, если я сам теперь не близко седьмого неба... Ни в небе, ни в земле, нигде ты не встретишь, хотя порознь, тех неуволимо божественных черт и роскошных вдохновений, которые... ensemble дышат и уместились в её, Боже, как гармоническом лице»*. Описание неведомой «северной» красавицы несколько напоминает незнакомку («это было божество...»), хотя чувство Гоголя заметно спокойнее, умиротворённее. Он словно вышел уже из кризиса или, наоборот, не дал себя в него увлечь [61].

Через девять месяцев, в письме от 20 декабря 1832 г., Гоголь, касаясь любовных переживаний Данилевского, говорит, что у него самого *«есть твердая воля, два раза отводившая... от желания заглянуть в пропасть»*. Если Гоголь «два раза» преодолевал роковое любовное чувство, то первый случай с некоторой долей вероятности можно приурочить к зиме или весне 1829 г., а второй – ко времени, о котором говорится в предыдущем письме. Кстати, состояние своё в первом случае Гоголь рисует именно так, что создается впечатление: не сумеет ли он справиться со своей страстью, она превратила бы его в одно мгновение в прах [62].

В начале 30-х гг. Гоголь вообще охотно рассуждает о силе любовного чувства, например в письме к тому же Данилевскому от 30 марта 1832 г.: *«Прекрасна, пламенна, томительна и ничем не изъяснима любовь до брака... она... сильный и свирепый энтузиазм, потрясающий надолго весь организм человека»*. Писателю, конечно, необязательно в подобных рассуждениях подразумевать самого себя; но, сопоставляя все это с другими фактами, можно думать, что «энтузиазм» любви был известен Гоголю не понаслышке. Именно подобным образом – как «сильное» и «свирепое» чувство, потрясавшее весь его «организм», – описывает Гоголь свои переживания, вызванные встречей с красавицей [63].

Но здесь нельзя не сказать о том, способен ли был Гоголь к физической близости с женщиной. Врачу А.Т. Тарасенкову, лечившему писателя в последние месяцы его жизни, тот говорил, что «сношения с женщинами он давно не имел и что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовлетворения» [64]. Свидетельство очень определенное: как бы ни было приглушено физиологическое чувство Гоголя, девственником он не был [65].

В литературных кругах притчей во языцех служила девственность Константина Аксакова, и весьма показательно в этом смысле, как относился к ней Гоголь. В письме Сергею Тимофеевичу Аксакову Гоголь однажды с укоризной заметил, что многие крайности в суждениях его сына проистекают оттого, что тот не «перебесился». Это невольно наводит на мысль, что у Гоголя самого были «грехи молодости», которые уже отошли к этому времени от него, но какую-то физиологическую сторону которых он признавал [66]. В ранние годы Гоголь относился к этой стороне жизни весьма терпимо, без ложной скромности и лицемерия, с понима-

нием [67]. В письме М. Максимовичу, посланном в марте 1835 г. из Петербурга на Украину, где уже вступила в свои права весна, Гоголь писал: «...*Дай мне ее одну, одну – и никого больше я не желаю видеть, по крайней мере на все продолжение ее, ни даже любовницы, что казалось бы потребнее всего весной*» [68].

В свете всего сказанного весьма характерно то, как рисуется им эпизод встречи с красавицей. Когда Марья Ивановна решила, что сын её стал добычей «гнусного разврата», тем более что речь шла ещё о какой-то болезни и сыпи, Гоголь поспешил её успокоить: «*Я готов дать ответ пред лицом Бога, если я учинил хоть один развратный подвиг, и нравственность моя здесь была несравненно чище, нежели в бытность мою в заведении и дома*» [69]. В другом письме – от 22 ноября 1833 г. – Гоголь предостерегает мать против губительного воздействия девичьей на воспитание его сестры Ольги: «*Вы очень хорошо делаете, что отдаете Олинку в пансион. Особенно подтвердите и мадаме, чтобы она держала её при себе или с другими детьми, но чтобы отнюдь не обращалась она с девками*». За всем этим, можно предположить, стоял личный опыт Гоголя [70].

Иначе говоря, «грехи молодости» относятся, скорее всего, к гимназическому периоду или к пребыванию в Васильевке во время вакаций. В Нежинской гимназии нередко случалось такое, о чем сетовало начальство. В донесении директора Э. Адеркасу говорилось: «...не малое число нанятых для мытья белья молодых женщин и девок бывает причиной весьма соблазнительных происшествий, которых и предупредить невозможно» [71]. «Просвещение» же барчука со стороны «девок» – тоже явление для помещичьих семей обычное.

К первым месяцам пребывания Гоголя в Петербурге относятся воспоминания В.П. Бурнашева, описывающего связь Гоголя с некоей «мещанской девкой». О связи этой, по словам Бурнашева, узнал Любич-Романович, который потом попросил Гоголя познакомить его с этой девицей.

Свидания проходили якобы в Варваринской гостинице. «Романович, страстный и плотоядный любитель этого рода грязных наслаждений, упросил Гоголя угостить его этою гетерой. Гоголь, хохоча и жаргуя по-хохлацки, из чего я не всё понимал, согласился отвести Романовича за перегородку...» [72].

Ненадолго прерву здесь текст источника, чтобы сказать о том, что такого рода «сведения» не могут и не должны никак характеризовать гоголевский моральный облик, даже если описанный Бурнашевым эпизод и был правдой (хотя этот источник нельзя назвать стопроцентно надёжным). Дело в том, что, попадая в Петербург, почти все нежинские гимназисты, и не только нежинские, а вообще все вчерашние школяры, будто по какому-то обязательно-непрерывному условию, спешили посетить бордель, то есть заведение, которых в столице было немало и существование которых почти не порицалось моралью, будучи встроенным в тогдашнюю систему взглядов о необходимых для взросления юношей вещах.

В одном из писем, адресованных Данилевскому (когда тот уже отбыл на Кавказ), Гоголь так подробно и с таким деловитым юмором описывает петербургский бордель (воспроизводя по памяти забавный случай, произошедший там с братьями Прокопович), что не остаётся сомнений – юный Николай Васильевич там бывал и вынужден был познать особенности сего заведения, будучи тогда человеком, подчиняющимся понятиям о нормальном и должном, бытующим в той среде, в которой ему довелось жить.

Верну слово Юрию Манну. Продолжу объёмную цитату, тем более что Манн теперь переходит к главному, к более важному, чем «вопрос о постели и борделе».

«То испытание, которое Гоголь (предположительно) пережил весной 1829 г., было совсем другого свойства – идеальным. Но это не значит, что оно осталось свободным от сложных и в моральном смысле весьма мучительных чувств – наоборот. Эпизод этот явно недооценен в биографии писателя; он, собственно, и не занял в ней своего места, так как считается

продуктом чистого вымысла, а между тем здесь завязывается один из важнейших узлов гоголевского бытия и его творчества [73].

Встреченная Гоголем женщина – само совершенство и в этом смысле свидетельствует о Боге: *«Это было божество, им созданное, часть его же самого!»* Но в то же время она свидетельствует и о человеческих страстях, пробуждает их и сама, кажется, несет на себе их печать: *«Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низко и не к стати для нее. Ангел – существо, не имеющее ни добродетелей, ни пороков, не имеющее характера, потому что не человек, и живущее мыслями в одном небе».* Здесь особенно интересно, что наименование «ангел» Гоголь почитает «низким» для женщины; он ещё высоко ценит вещественное, плотское выражение красоты; он хотел бы примирить небесное с земным, добавить к небесному некоторую долю земного. *«Это божество, но облаченное слегка в человеческие страсти».*

Как божество и идеал красоты эта женщина не допускает даже мысли о физическом обладании; Гоголю достаточно «одного только взгляда» на неё; «взглянуть на неё ещё раз – вот бывало одно-единственное желание». Но странное дело: не успокоение, не гармонию, не мир привносит в душу это созерцание... Непереносим прежде всего взор красавицы: *«Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу. Но их сияния, жгущего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков».* Чувства, которые пробуждает ее вид, ужасны: *«Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен».*

От неба, «божества» до преисподней – диапазон гоголевских переживаний [74].

\* \* \*

Исчерпывающих ответов на самые деликатные вопросы о Гоголе дать трудно (а, собственно, о ком-то другом – легко?), но коль быть дотошным и откровенным, то получается примерно то, что было процитировано мной выше. Факты (узнать о которых так жаждут многие) примерно таковы и есть, но нам пора съехать с этого пунктика, отвлечься от него хоть немного и двигаться дальше – по хронологии гоголевских скитаний. Они здесь в самом разгаре, ведь ненароком пустившись в странствие на исходе лета 1829 г., юный Николай Васильевич оказался на корабле, посреди беспокойной Балтики.



*Остров Борнхольм. Современный вид*

Гоголь терпел невзгоды, впитывал новые впечатления. В первые же часы плавания пережил «порядочную бурю», познакомившись со всеми неприятными ощущениями, которые с этим сопряжены. А через два дня увидел берега Швеции и с удовлетворением отметил в письме, написанном на родину: *«Народ вообще хорош, особливо женщины стройны и недурны собою»*.

Потом, вдалеке, Борнхольм, известный русскому читателю по повести Н. Карамзина, арена действия таинственных, фатальных сил (Гоголь записывает: *«Вид острова Борнгольма с его дикими, обнаженными скалами и вместе цветущею зеленью долин и красивыми домиками восхитителен»*). Через четыре дня – Дания. Потом Германия: Любек, Травемюнде, Гамбург. В 50 километрах от Любека, между прочим, находился городок Висмар, близ которого, в деревне Люненсдорф, происходило действие «Ганца Кюхельгартена», и таким образом пути Гоголя и его героя чуть было не пересеклись.

Странствие, столь желанное странствие отвлекло Гоголя, как было и прежде и как будет и впредь, когда сама дорога становилась для него лекарством, причём весьма действенным. И вот недели не проходит, а Гоголь садится писать письмо милой маменьке, находясь уже в совсем ином настроении, чем прежде (когда решился отчаянно излить душу и выговориться, пылая всевозможными терзаниями). Из Любека Гоголь пишет матери, что просит извинений в огорчениях, которые причинял ей своими поступками, тоскует в разлуке с нею, выражая сомнение: точно ли он повиновался указанию свыше, удаляясь из отечества?

*«Простите, милая, великодушная маменька, простите своему несчастному сыну, который одного только желал бы ныне – повергнуться в объятия ваши и излить перед вами изрытую и опустошенную бурями душу свою, рассказать всю тяжкую повесть свою. Часто я думаю о себе: зачем Бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую, пламенеющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем он дал всему этому такую грубую оболочку? зачем он одел всё это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения? Но мой бренный разум не в силах постичь великих определений всевышнего.*

*Ради бога, об одном прошу вас только: не думайте, чтобы разлука наша была долговременна. Я здесь не намерен долго пробыть, несмотря на то, что здешняя жизнь сноснее и дешевле петербургской. Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины, заставившей меня именно ехать в Любек. Во всё почти время весны и лета в Петербурге я был болен; теперь хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи, что у меня кровь крепко испорчена, что мне нужно было принимать кровоочистительный декокт, и присудили пользоваться водами в Травемунде, в небольшом городке, в восемнадцати верстах от Любека. Для пользования мне нужно пробыть не более двух недель. Если вы хотите, то вам стоит только приказать мне оставить Любек, и я его оставлю немедленно. Я в Петербурге могу иметь должность, которую и прежде хотел, но какие-то глупые людские предубеждения и предрассудки меня останавливали. Имением, сделайте милость, располагайте, как хотите. Продайте, ради бога, продайте или заложите хоть и всё. Я слово дал, что более не потребую от вас и не стану разорять вас так бессовестно. Должность, о которой я говорил вам, не только доставит мне годовое содержание, но даже возможность доставлять и вам вспоможения в ваших великодушных попечениях и заботах» [75].*

\* \* \*

Как и пообещал матери, Гоголь пробыл в Германии совсем недолго, вскоре вернулся на берега Невы, навсегда укрыв свою первую любовную тайну, однако его влюблённость дала всходы, как только он возвратился из Любека. Проговорившись матери о необыкновенности своего чувства, юный писатель, быть может и сам того не желая, раскрывается и перед своими читателями в статье «Женщина», которая позже будет опубликована (в «Литературной газете» от 16 января 1831 г.).

Произведение это опять-таки довольно яркое и эмоциональное, но оно являет собой скорее философскую зарисовку, чем статью, а может быть, и притчу, разве что чуть более импульсивную и чувственную, чем привычные нам примеры притч. Сюжет гоголевского замысла раскрывается в диалоге древнегреческого мудреца Платона с учеником по имени Телеклес, испытывающим боль несчастливой влюблённости:

*«Зевс Олимпиец! – говорит гоголевский Телеклес и взрывается бурными эмоциями, восклицая – Ты создал женщину!»*

*«Глаза его кидали пламя; по щекам бушевал пожар, и дрожащие губы пересказывали мятежную бурю растерзанной души»* – так описывает Гоголь состояние своего героя и облик его.

Вот гоголевский Телеклес обращается к Платону: *«Что, мой божественный учитель? не ты ли представлял нам её в богоподобном, небесном облачении? Не твои ли благоуханные уста лили дивные речи про нежную красоту её? Не ты ли учил нас так пламенно, так невестственно любить её? Нет, учитель! твоя божественная мудрость ещё младенец в познании бесконечной бездны коварного сердца. Нет, нет! и тень свирепого опыта не обхватывала светлых мыслей твоих, ты не знаешь женщины».*

Чуть ниже Гоголь продолжает описание психологического состояния своего героя.

*«Глубокий, тяжёлый вздох вырвался из груди юноши, как будто все тайные нервы души, все чувства и все, что находится внутри человека, издало у него скорбные звуки, и звуки эти прошли потрясением по всему составу, и созерцаемая чувствами природа, в бессилии рассказать бессмертные, вечные муки души, переродилась в один болезненный стон. Между тем вдохновенный мудрец в безмолвии рассматривал его, выражая на лице своем думы, ещё не впечатленные прежним высоким размышлением. Так остатки дивного сновидения долго ещё не растаются и мешаются с началами идей, покамест человек совершенно не входит в мир*

действительности. Свет сыпался роскошным водопадом чрез смелое отверстие в куполе на мудреца и обливал его сиянием; казалось, в каждой вдохновенной черте лица его светилась мысль и высокие чувства».

Здесь гоголевская мысль подходит к самому главному (а я, пожалуй, не стану больше сокращать авторский текст, а дам весьма объёмную цитату из эмоционального гоголевского излияния, поскольку оно красноречиво характеризует те движения в гоголевском сознании, что происходили в данный период его биографии, и творческой и личной).

Итак:

*«Умеешь ли ты любить?» – спросил мудрец спокойным голосом. «Умею ли любить я! – быстро подхватил юноша. – Спроси у Зевса, умеет ли он манием бровей колебать землю. Спроси у Фидия, умеет ли он мрамор зажечь чувством и воплотить жизнь в мертвой глыбе. Когда в жилах моих кипит не кровь, но острое пламя, когда все чувства, все мысли, я весь перерождаюсь в звуки, когда звуки эти горят и душа звучит одною любовью, когда речи мои – буря, дыхание – огонь... Нет, нет! я не умею любить! Скажи же мне, где тот дивный смертный, кто обладает этим чувством? Уж не открыла ли премудрая Пифия это чудо между людьми?»*

*«Бедный юноша! Вот что люди называют любовью! Вот какая участь готовится для этого кроткого существа, в котором боги захотели отразить красоту, подарить миру благо и в нем показать свое присутствие на земле! Бедный юноша! Ты бы сжёг своим раскаленным дыханием это кроткое существо, ты бы возмущил бурей страстей это чистое сияние! Знаю, ты хочешь говорить мне об измене Алкиной. Твои глаза были сами свидетелями... но были ли они свидетелями твоих собственных мятежных движений, совершавшихся в то время во глубине души твоей? Высмотрел ли ты наперед себя? Не весь ли бунт страстей кипел в глазах твоих; а когда страсти узнавали истину? Чего хотят люди? они жаждут вечного блаженства, бесконечного счастья, и довольно одной минутной горечи, чтобы заставить их детски разрушить все медленно строившееся здание! Пусть глазами твоими смотрела сама истина, пусть это правда, что прекрасная Алкиноя очернила себя коварною изменой. Но вопросы свою душу: что был ты, что была она в то время, когда ты и жизнь, и счастье, и море восторгов находил в Алкиноиных объятиях? Переверни огненные листы своей жизни и найдешь ли ты хотя одну страницу красноречивее, божественнее той? Захотел ли бы ты взять все драгоценные камни царей персидских, все золото Ливии за те небесные мгновения? И что против них и первая почесть в Афинах, и верховная власть в народе! И существо, которое, как Прометей, все, что ни исхитило прекрасного от богов, принесло в дар тебе, водворило небо со светлыми его небожителями в твою душу, – ты поражаешь преступным проклятием; когда вся твоя жизнь должна переродиться в благодарность, когда ты должен весь вылиться слезами, и умилением, и кротким гимном жизнедавицу Зевесу, да продлит прекрасную жизнь ее, да ответит облако печали от светлого чела ее.*

*Устреми на себя испытующее око: чем был ты прежде и чем стал ныне, с тех пор, как прочитал вечность в божественных чертах Алкиной; сколько новых тайн, сколько новых откровений постиг и разгадал ты своею бесконечною душою и во сколько придвинулся ближе к верховному благу! Мы зреем и совершенствуемся; но когда, когда глубже и совершеннее постигаем женщину. Посмотри на роскошных персов: они переродили своих женщин в рабынь, и что же? им недоступно чувство изящного – бесконечное море духовных наслаждений. У них не выбьется из сердца искра при виде богини Праксителевой; восторженная душа их не заговорит с бессмертною душою мрамора и не найдет ответных звуков. Что женщина? – Язык богов! Мы дивимся кроткому, светлomu челу мужа; но не подобие богов созерцаем в нем: мы видим в нем женщину, мы дивимся в нем женщине, и в ней только уже дивимся богам. Она поэзия! она мысль, а мы только воплощение ее в действительности. На нас горят ее впечатления, и чем сильнее и чем в большем объеме они отразились, тем выше и прекраснее мы становимся. Пока*

картина еще в голове художника и бесплотно округляется и создается – она женщина; когда она переходит в вещество и облекается в осязаемость – она мужчина. Отчего же художник с таким несътым желанием стремится превратить бессмертную идею свою в грубое вещество, покорив его обыкновенным нашим чувствам? Оттого, что им управляет одно высокое чувство – выразить божество в самом веществе, сделать доступною людям хотя часть бесконечного мира души своей, воплотить в мужчине женщину. И если ненароком ударят в нее очи жарко понимающего искусство юноши, что они ловят в бессмертной картине художника? видят ли они вещество в ней? Нет! оно исчезает, и перед ними открывается безграничная, бесконечная, бесплотная идея художника. Какими живыми песнями заговорят тогда духовные его струны! как ярко отзовутся в нем, как будто на призыв родины, и безвозвратно умчавшееся и неотразимо грядущее! как бесплотно обнимется душа его с божественною душою художника! Как сольются они в невыразимом духовном поцелуе!.. Что бы были высокие добродетели мужа, когда бы они не осенялись, не преображались нежными, кроткими добродетелями женщины? Твердость, мужество, гордое презрение к пороку перешли бы в зверство. Отними лучи у мира – и погибнет яркое разнообразие цветов: небо и земля сольются в мрак, еще мрачнейший берегов Аида. Что такое любовь? – Отчизна души, прекрасное стремление человека к минувшему, где совершалось беспорочное начало его жизни, где на всем остался невыразимый, неизгладимый след невинного младенчества, где всё родина. И когда душа потонет в эфирном лоне души женщины, когда отыщет в ней своего отца – вечного бога, своих братьев – дотопе не выразимые землю чувства и явления – что тогда с нею? Тогда она повторяет в себе прежние звуки, прежнюю райскую в груди бога жизнь, развивая ее до бесконечности...» Вдохновенные взоры мудреца остановились неподвижно: перед ними стояла Алкиноя, незаметно вошедшая в продолжение их беседы. Опершись на истукан, она вся, казалось, превратилась в безмолвное внимание, и на прекрасном челе ее прорывались гордые движения богоподобной души. Мраморная рука, сквозь которую светились голубые жилы, полные небесной амврозии, свободно удерживалась в воздухе; стройная, перевитая алыми лентами поножия нога в обнаженном, ослепительном блеске, сбросив ревнивую обувь, выступила вперед и, казалось, не трогала презренной земли; высокая, божественная грудь колебалась встревоженными вздохами, и полуприкрывавшая два прозрачные облака персей одежда трепетала и падала роскошными, живописными линиями на помост. Казалось, тонкий, светлый эфир, в котором купаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя, разливаясь и переливаясь в бесчисленных лучах, коим и имени нет на земле, в коих дрожит благовонное море неизъяснимой музыки, – казалось, этот эфир облекся в видимость и стоял перед ними, освятив и обоготворив прекрасную форму человека. Небрежно откинутые назад, темные, как вдохновенная ночь, локоны надвигались на лилейное чело ее и лились сумрачным каскадом на блистательные плеча. Молния очей исторгала всю душу... – Нет! никогда сама царица любви не была так прекрасна, даже в то мгновенье, когда так чудно возродилась из пены девственных волн!.. В изумлении, в благоговении повергнулся юноша к ногам гордой красавицы, и жаркая слеза склонившейся над ним полубогини канула на его пылающие щеки» [76].

\* \* \*

Такая вот она, гоголевская статья «Женщина». Да, находясь в ряду предыдущих гоголевских текстов (и тех, что были изложены в письмах, и тех, что составили «идиллию» о Ганце), статья высокопарна, наивна, она пенится, как шампанское, выдавая юношескую горячность автора и его трогательные переживания. Но она удивительна, как всё гоголевское.

Однако большинство читателей (особенно нынешних) способны будут отнестись с ней как к чему-то совсем нетипичному в ряду гоголевских образов и тем. Некоторая часть читателей, в том числе и тех, которые любят и ценят Гоголя, просто не знают или не помнят этот

текст и эту «вспышку» гоголевских эмоций. С другой стороны, часть весьма знающих гоголеведов, тех, которые, разумеется, не раз замечали эти «горячечные» строчки и наверняка помнят их, отчего-то игнорируют или пропускают здесь многое из весьма важного для понимания гоголевского психологического портрета, да и достоверного биографического образа Николая Васильевича.

А это одна из красок на гоголевском портрете, это деталь. Неважных деталей не бывает, хотя бывают несущественные. Так вот первое произведение Гоголя, опубликованное под его настоящим именем, – явление весьма существенное.

И вот он, вот же он – юный Гоголь! Он кричит, трогательно и эмоционально восклицает устами своих героев: *«Зевс, ты создал женщину!»*, *«Нет! никогда сама царица любви не была так прекрасна...»*.

## Глава третья. После Любека Гоголь берётся за ум

Первое заграничное путешествие Гоголя пронеслось как смутный сон. Сознание Гоголя было занято совсем не тем, что способно настроить путешественника на приятный променада или увлекательный тур, но всё же тот «терапевтический эффект», о котором мы говорили выше, имел место, он сыграл положенную роль. Пробыв в Германии последние недели лета и первые недели осени 1829 г., Гоголь спешит обратно – в Петербург, чтобы начать всё заново, с чистого листа.

Перед отъездом за границу Гоголь квартировал с Прокоповичем. Они не вели в отсутствие Гоголя переписки, и Прокопович воображал его странствующим бог знает где. Какого же было его удивление, когда, возвращаясь однажды вечером (22 сентября) от знакомого, он встретил Якима, идущего с салфеткой к булочнику, и узнал, что у них «есть гости»! Когда он вошел в комнату, Гоголь сидел, облокотясь на стол и закрыв лицо руками. Расспрашивать как и что было бы напрасно, и таким образом обстоятельства, сопровождавшие фантастическое путешествие, как и многое в жизни Гоголя, остались для него тайною [77].

Не менее удивлен был и Данилевский, когда он, входя к Прокоповичу, услышал звуки хорошо знакомого голоса. Хотя, по собственным словам его, он совершенно не верил в серьезность плана, составленного Гоголем, и предвидел его скорое возвращение, но всё-таки никак не ожидал, что это случится так быстро [78].

Вернувшись из заморской поездки, Гоголь в самом деле сумел совладать с нахлынувшими было страстями, приключившимися от неудач, иллюзий и банального незнания жизни, которое и не могло быть доступно вчерашнему гимназисту.

Да, юному поэту было горько, но, проветрившись на балтийских ветрах, он наконец находит в себе силу, чтобы, повзрослев оставить в прошлом период бурь и страстей. Гоголь теперь многое готов отдать, только бы не ввергнуться снова в те состояния, что толкнули его к импульсивному поступку. Не исключено, что юный Николай Васильевич рассудил себя даже строже, чем следовало, и зарёкся от иных увлечений даже более рьяно, чем стоило, а может, и нет – кто знает? Однако с середины осени 1829 г. жизнь Гоголя меняется резко, меняется качественно, Гоголь берётся за ум, всерьёз берётся, закусив удила.

Как вы наверняка помните из предыдущей главы, первая попытка Николая Васильевича поступить на службу не увенчалась успехом, поскольку надежда на протекцию Кутузова подвела, и вот теперь, перед тем как совершить следующую попытку устроиться в какой-нибудь департамент или комитет, Гоголь решает попытать судьбу на театральном поприще.

Однако судьба снова решила проявить свою жестокость. П.А. Кулиш так описывает данный момент: «Успехи Гоголя на гимназической сцене внушали ему надежду, что здесь он будет в своей стихии. Он изъявил желание вступить в число актеров и подвергнуться испытанию. Игру его забраковали начисто, и я не знаю, приписать ли это робости молодого человека, не видавшего света. Как бы то ни было, но Гоголь должен был отказаться от театра после первой неудачной репетиции. Проба комического его таланта происходила в кабинете директора театров, князя С.С. Гагарина, в присутствии актеров В.А. Каратыгина и Брянского» [79].

Трудно сказать, насколько тяжело Гоголь пережил очередную неудачу, однако уделять время оплакиванию очередной несбывшейся мечты Николай Васильевич не стал, он продолжил активно действовать.

Известно письмо Гоголя от 27 октября 1829 г., адресованное матери, в котором он сообщает, что надеется в скором времени определиться на службу. И вот уже в конце октября, быть может, в этот же самый день, наш юный поэт, решившись действовать смело, подаёт прошение об определении на службу на имя министра внутренних дел [80].

Судьба, посылавшая Гоголю положенную сумму тяжких испытаний провальными неудачами, решает теперь, как видно, перейти к новым видам испытательных проверок, которые окажутся, быть может, уже менее тяжкими и более способствующими гоголевскому продвижению к настоящей цели. Так или иначе, но 15 ноября 1829 г. на прошении Гоголя появляется резолюция о зачислении его на испытание в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий [81].

С этого времени жизнь Гоголя входит в берега, хотя на новой службе поэта ждёт предсказуемое и досадное испытание – скука и бессмысленность бумажной волокиты. Однако здесь он пробудет только до 25 февраля следующего года, отдышавшись немного от предыдущей бури и окончательно отыскав в себе твёрдость для достижения намеченных рубежей.

Верный избранной тактике, Гоголь продолжал испытывать себя и на других поприщах. В том же самом письме к матери, в котором рассказывал о государственной службе, он сообщал, что регулярно бывает и в императорской Академии художеств. Приходит сюда три раза в неделю к пяти вечера и занимается часа два.

Гоголь сходится здесь со многими художниками, добивается их расположения. *«По знакомству своему с художниками, и со многими даже знаменитыми, я имею возможность пользоваться средствами и выгодами, для многих недоступными. Не говоря уже об их таланте, я не могу не восхищаться их характером и обращением; что это за люди!»* Гоголя восхищает в них то, что так редко встретишь у своего брата чиновника: *«...об чинах и в помине нет, хотя некоторые из них статские и даже действительные советники»*. В том же 1830 г. в Академии художеств открывалась выставка произведений за три прошедших года. Гоголь не преминул побывать на выставке. *«Это для жителей столицы другое гулянье, – сообщал он матери, – около тридцати огромных зал наполнены были каждый день»*. Особенность академической выставки 1830 г. в том, что «это был своеобразный триумф школы Венецианова» [82]. Здесь было выставлено пять работ самого мастера и 32 работы его учеников. Среди произведений последних – «Удящие рыбу из беседки» В.М. Аврорина, «Внутренность крестьянского двора» Беллера, «Беседка в Приютино» Васильева, «Внутренность крестьянского двора» девицы Раевской и т. д. [83].



*А.Г. Венецианов. Автопортрет*

Сверх творческих схождений у Гоголя и Венецианова были и сближающие их биографические обстоятельства. Алексей Гаврилович Венецианов (1780–1847) происходил из нежинских греков, из той самой шумной колонии, которую с любопытством, иронией и теплотой наблюдал Гоголь в бытность учеником Гимназии высших наук и в которой у него были приятели вроде Константина Базили. Переехав в Петербург, Венецианов учился у В.Л. Боровиковского, вместе с племянником которого Николай занимался у полтавского преподавателя Гаврилы Сорочинского. Художник был вхож в дом своего земляка – владельца Диканьки В.П. Кочубея и нарисовал его портрет в интерьере петербургского дома. Гоголь примерно в это же время – скорее всего, после выхода первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки» – тоже появится в апартаментах этого дома [84].

Гоголь мало-помалу входит в круг творческой братии Северной столицы, теперь главная цель молодого Гоголя состоит в поиске путей вхождения в несколько более закрытый круг, именно тот, что окружал сияющего в ту пору Пушкина. Но для этого Гоголю необходимо хоть как-то заявить о себе, проявить свой литературный облик. И пускай предыдущая попытка не принесла успеха, но юный поэт теперь твёрд, по-настоящему твёрд!

Одним из первых серьёзных литераторов, с кем познакомился наш милый провинциал, был, по-видимому, О.М. Сомов – критик, прозаик, журналист. Гоголь не мог не помнить, что Сомов был единственным, кто благосклонно отозвался о «Ганце Кюхельгартене». В «Обзрении российской словесности за первую половину 1829 года», опубликованном в альманахе «Северные цветы» за 1830 г., критик писал: «В сочинителе виден талант, обещающий в нём будущего поэта. Если он станет прилежнее обдумывать свои произведения и не станет спешить изданием их в свет тогда, когда они еще должны покоиться и укрепляться в силах под младенческой пеленою, то, конечно, надежды доброжелательной критики не будут обмануты». За такие слова Сомов получил выговор от рецензента «Московского телеграфа», где в свое время «Ганц Кюхельгартен» был изничтожен: мол, заступничество за поэму свидетельствует об отсталости вкуса [85]. Но для Гоголя это была капля бальзама на рану. И поощрение к более обдуманному и неспешному литературному труду.

В письме к матери Гоголь сообщает: «Теперь я собираю материалы и обдумываю свой обширный труд». На самом же деле обдумывался не один «обширный труд», а несколько: исторический роман, «малороссийская повесть», не говоря уже о работе над произведениями, составившими впоследствии «Вечера на хуторе близ Диканьки». Хотя Гоголь и предупреждал, что его труды готовятся не для журнала и «*появятся не прежде, как по истечении довольно продолжительного времени*», но все же в 1830 г. он решил опубликовать отрывки из этих трудов. Сделал он это, по-видимому, с помощью Сомова [86].

Гоголь всё более и более взрослеет как в личностном плане, так и в творческом, и вот, давно уже собиравший материалы малороссийского быта (в чём ему помогала мать), он создаёт наконец такие произведения, которые лишены юношеского пафоса и метаний. Настаёт момент, когда из-под пера юного Гоголя выходят вещи, которые с тех пор и доселе способны удивлять, радовать и дарить новизну.

Чуть больше месяца (с 25 февраля по 27 марта) Гоголь, оставивший службу в Департаменте публичных зданий, работает только над повестями, над новыми, следующими повестями. Но в конце марта он понимает, что пока не пришло то время, когда можно существовать лишь литературными заработками, и, собравшись с духом, скрепя сердце и не предаваясь гордыне, он снова идёт по статской колее, решается искать нового места, которое в этот раз отыскивает довольно быстро.

Новое трудоустройство поэта нельзя назвать завидным. Гоголь получает место писца в Департаменте уделов. Что поделаешь, ставший рассудительным Гоголь соглашается и на это, ведь он теперь иной, это упорный, знающий цель, взрослеющий хотя и всё ещё очень молодой человек.

И вот в «Отечественных записках» 1830 г., была помещена, без имени автора, повесть Гоголя под заглавием: «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви». Неизвестно, какой гонорар получил Гоголь за эту повесть... Издатель «Отечественных записок» Свиньин во многих местах повести исправил по-своему слог. Гоголь прекратил вследствие этого своё участие в «Отечественных записках» [87].

Однако Гоголь понял, что теперь направление было выбрано верно, и продолжил пробивать путь вслед за этим перевалом. В течение следующих месяцев он продолжал служить в должности, не дававшей престижа и больших доходов, однако на исходе лета кое-что изменя-

ется в жизни нашего поэта, изменяется к лучшему. На службе его заметили наконец, он был назначен помощником столоначальника с жалованьем 750 рублей в год [88].

Но не это становится самым главным событием тех дней, что изменяют наконец жизнь Николая Васильевича по-настоящему. Куда важнее то, что Гоголь приобретает-таки возможность войти в столь желанный круг литераторов, знакомится с людьми, способными помочь в главном деле жизни. Летом 1830 г. Гоголь приобретает дружбу А.А. Дельвига, которая становится поистине бесценной для молодого Николая Васильевича. В «Литературной газете» и в альманахе «Северные цветы», принадлежавшим Дельвигу, начинают выходить гоголевские произведения, причём одно за другим. Дельвиг даёт Гоголю хорошую возможность практиковаться в самых разных жанрах. Наш юный поэт, окончательно отойдя от стихосложения, становится журналистом, беллетристом и прозаиком, пишет теперь всё более серьёзные вещи, причём не только в сфере художественной литературы. Здесь он печатает и публицистику, и свои исторические опыты.

В декабре 1830 г. в «Северных цветах» была напечатана глава из «исторического романа» Гоголя (хотя и не подписанная пока его настоящим именем, а лишь вымышленными инициалами). В январе 1831 г. вышел первый номер «Литературной газеты», где напечатана глава из малороссийской повести Гоголя «Учитель» (подписано П. Глечик), здесь же была опубликована статья «Несколько мыслей о преподавании детям географии» (подписано Г. Янов).

До поры Гоголь по-прежнему скрывается под псевдонимами. Первым произведением, которое подписано настоящим именем, оказалась статья «Женщина». Да-да, та самая, что была создана Гоголем на гребне бурной волны, которая овладела им в первый период жизни в Петербурге, а затем отправилась в европейский вояж. Этой статьёй будет заполнен четвёртый номер «Литературной газеты», который выйдет 16 января 1831 г. Как видно, чувства, что владели юным Гоголем в те бурные недели, всё же оставались дороги нашему поэту.



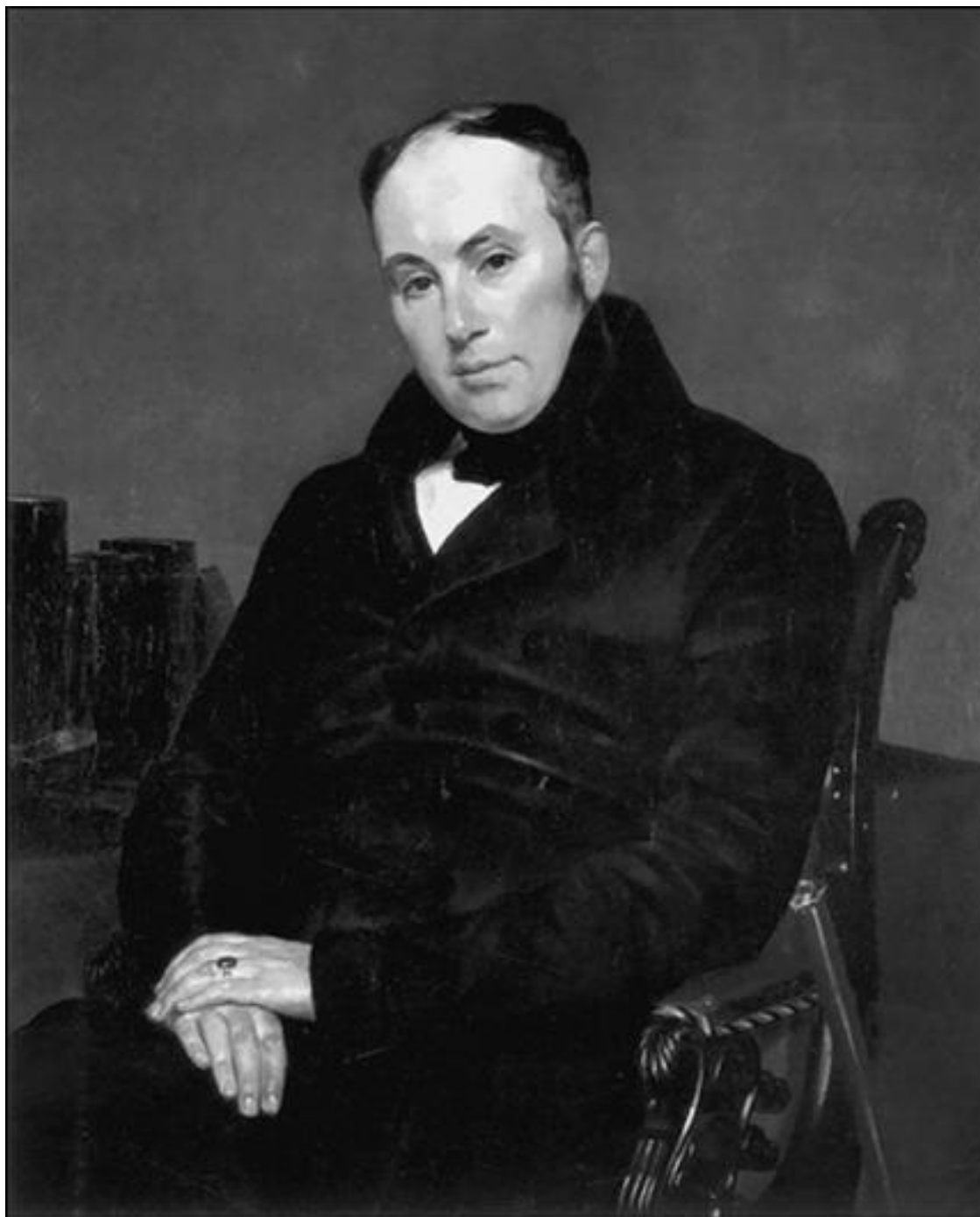
*А.А. Дельвиг. Литография XIX в.*

Летом 1830 г. происходит знакомство Гоголя с Жуковским.

Для того чтобы свести желанное знакомство с Василием Андреевичем, Николай Васильевич достал откуда-то рекомендательное письмо. Вероятнее всего, оно было написано всё тем же Дельвигом, разгадавшим истинный масштаб таланта Гоголя и сумевшим оказать ему настоящую помощь.

Жуковский не хуже Дельвига сумел распознать истинный талант в Гоголе и принялся помогать ему, причём не только и на пути становления Гоголя в роли литературного корифея, но и в развитии его педагогических опытов. В ту пору Жуковский был воспитанником наследника престола (то есть будущего императора Александра II), Гоголь же мечтал воплотить новые принципы и новые методы педагогики, для чего пытался составлять особые дидактические таблицы для обучения детей. Эти таблицы он принялся совершенствовать теперь с удвоенной энергией и вместе с Жуковским разрабатывал план для преподавания наук наследнику и двум его соученикам (о них ещё пойдёт речь в одной из нижеследующих глав).

Жуковский был благородным человеком, редким примером высокой и тонкой души. Гоголь на всю жизнь сохранил дружбу с ним. Спустя почти 18 лет, в январе 1848 г., Гоголь, вспоминая утро своей жизни, напишет такие строки в письме Жуковскому: *«Едва вступивший в свет юноша, я пришёл в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце. Комнаты этой уже нет. Но я её вижу, как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику!.. Что нас свело, неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства»* [89].



*В.А. Жуковский. Художник К.П. Брюллов*

Жуковский сумел понять Гоголя, как никто другой, не укрылось от Василия Андреевича плачевое положение гоголевских финансов и незавидный статус на службе. Жуковский решил похлопотать о Гоголе и обратился к П.А. Плетнёву, который был тогда инспектором Патриотического института и исходатайствовал у императрицы для Гоголя в этом заведении место старшего учителя истории [90].

Удача! Да, настоящая удача наконец улыбнулась Гоголю! Наш юный поэт даже начал слегка важничать. Вот отрывок из его письма матери в Васильевку от 16 апреля 1831 г.: *«Я душевно был рад оставить ничтожную мою службу, ничтожную, я полагаю, для меня, потому что иной, бог знает, за какое благополучие почёл бы занять оставленное мною место. Но путь у меня другой, дорога прямее, и в душе более силы идти твердым шагом. Я мог бы остаться теперь без места, если бы не показал уже несколько себя. Государыня приказала читать мне в находящемся в её ведении институте благородных девиц. Впрочем, вы не думайте, чтобы это много значило. Вся выгода в том, что я теперь немного больше известен, что лекции мои мало-помалу заставляют говорить обо мне, и главное, что имею гораздо более свободного времени: вместо мучительного сидения по целым утрам, вместо сорока двух часов в неделю, я занимаюсь теперь шесть, между тем жалованье даже немного более; вместо глупой, бесполовой работы, которой ничтожность я всегда ненавидел, занятия мои теперь составляют неизъяснимые для души удовольствия»* [91].

Прежние должности, в которых протекало скучное существование Гоголя (в окружении «канцелярских крыс», мечтающих о новой шинели), не сумели увлечь Гоголя и удержать его надолго, но вот, оказавшись в роли учителя молоденьких особ, Гоголь вдруг воспрянул духом. С этих пор и его дела идут только в гору.

Забегая вперёд скажу, что в должности учителя благородных девиц Гоголь решит задержаться. Это единственное место службы, где он останется надолго, здесь всё ему пришлось по вкусу. С начала 1831 г. и до самого 1835-го он будет продолжать читать историю патриоткам (так называли воспитанниц Патриотического института) и даже привезёт сюда своих родных сестёр. Короче говоря, не подтверждается она, та версия, согласно которой Гоголь сторонился женщин.

\* \* \*

22 февраля 1831 г. П.А. Плетнёв напишет письмо, которому суждено стать судьбоносным в судьбе Гоголя и в судьбе русской литературы. Он сообщит Пушкину: «Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в «Северных Цветах» отрывок из исторического романа, с подписью оооо, также в «Литературной Газете» – «Мысли о преподавании географии», статью «Женщина» и главу из малороссийской повести «Учитель». Их писал Гоголь-Яновский. Сперва он пошёл было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамёна: он перешёл в учителя. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и, как художник, готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает» [92].

И вот, вот оно! Гоголь приближается к своей мечте – знакомится с Пушкиным, становится рядом с ним, чтобы с этих пор быть частью его круга и важной частью русской изящной словесности, входящей в ту пору в свой золотой век.

Гоголь был представлен Пушкину на вечере у П.А. Плетнёва, когда тот с молодой женой приехал из Москвы в Петербург [93].

Владимир Шенрок так писал о последствиях произошедшего события: «Чтобы оценить всё значение этой дружбы, надо представить себе целый переворот, произведённый в судьбе юного малоросса этим радушно принявшим его кругом. Надо вспомнить, что Гоголь ожил,

расцвёл, почувствовал себя другим человеком, очутившись на вольном воздухе и в сообществе лучших, достойнейших представителей литературы, после недолгого, правда, соприкосновения с миром безнадежной, леденящей житейской прозы в лице безжизненных, забытых образом неблагодарного труда автоматов-столоначальников и вечно прижимаемой суровым гнётом нужды и назойливыми, узко-практическими заботами мелкого чиновничества» [94].

Далее Шенрок продолжает: «Гоголь вдруг вздохнул легко и свободно, и вот он уже является обычным и желанным гостем на субботах Жуковского, где собирается избранное общество литераторов и образованных людей: Пушкин, Вяземский, Виельгорский, Гнедич, Крылов. До сих пор мир мысли и чувства был лишь родственным Гоголю по духу, но он не имел в него доступа и даже сохранял о нём смутное представление, проникнутое какой-то наивной идеализацией» [95].

Однако были люди, которых удивляло отношение Пушкина к Гоголю, они недоумевали: отчего же маститый литератор так запросто и скоро сошёлся вдруг с никому не известным и незнатным Гоголем? Барон А.И. Дельвиг (племянник поэта, сумевшего, как мы помним, вывести Гоголя из безвестности) так выражал своё недоумение: «В 1831–1832 гг. на вечерах Плетнёва я видал многих литераторов и в том числе А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. Пушкин и Плетнёв были очень внимательны к Гоголю. Со стороны Плетнёва это меня несколько не удивляло, он вообще любил покровительствовать новым талантам, но со стороны Пушкина это было мне вовсе непонятно. Пушкин всегда холодно и надменно обращался с людьми мало ему знакомыми, неаристократического круга и с талантами мало известными. Гоголь же тогда... казался ничем более как учителем в каком-то женском заведении, плохо одетым и ничем на вечерах Плетнёва не выказывавшимся... Он жил в верхнем этаже дома Зайцева, тогда самого высокого в Петербурге, близ Кокушкина моста, а так как я жил вблизи того же моста, то мне иногда случалось завозить его» [96].

Шенрок даёт такое объяснение отношению Пушкина к Гоголю: «Светлым взглядом настоящего гения Пушкин тотчас прозрел в неловком, застенчивом молодом друге явление необычайное, воплощение той великой грядущей силы, которой было суждено вскоре открыть новый период в нашей литературе созданием натуральной школы, а в наши дни завоевать нам почётное право на внимание и уважение просвещённых народов Европы. Как истинно великий человек, Пушкин не устранился и не возненавидел зарождающуюся живую силу, возвещавшую зарю будущего величия русской литературы, но приветствовал её от души, протянув руку начинающему таланту» [97].

## Глава четвёртая. Гоголь и Маша Балабина

Возвращаясь к разговору о любовных переживаниях Гоголя, нужно заметить, что наряду с теми эпизодами его биографии, которые подчас выглядят таинственными и укрытыми пеленой, будто похожей на вуаль таинственной незнакомки, чей образ совершил бурю в сознании Гоголя, и наряду с теми соблазнами, которых, возможно, не избежал Гоголь в закоулках юных дней, была в жизни нашего классика одна бесконечно нежная и чистая привязанность к девушке, ответившей ему обожанием и доверием. Долгие годы продлились эти отношения, не омрачившись ничем и увенчавшись благородным поступком Гоголя по отношению к этой особе.

Речь я веду о Марии Петровне Балабиной – прекрасной Машеньке, с которой Гоголь познакомился, когда та была ещё подростком, да так и прикипел к ней.

Дело в том, что в самом начале 1831 г. Гоголь был представлен (по рекомендации всё того же Плетнёва) семье генерал-лейтенанта Петра Ивановича Балабина – видного петербургского вельможи. Чиновник являлся важным и богатым, однако ни он, ни его семья не были заражены барственностью, а, напротив, держали себя довольно скромно и достойно. Плетнёв не раз отзывался о них как о людях образованных и симпатичных. «Единственной в мире по доброте» – такой представлялась и Гоголю семья Балабиных [98].

Здесь-то Гоголь и повстречал ту юную, чистую, восторженную и тонкую особу. Кроме самой Марьи Петровны молодой писатель был дружен с её старшей сестрой Елизаветой Петровной Репниной-Волконской, а также с матерью – Варварой Осиповной, о которой академик Я.К. Грот сообщает, что она, будучи француженкой по происхождению, являлась женщиной чрезвычайно образованной, начитанной, с тонким вкусом в оценке произведений литературы и искусств [99].

Часто бывая в доме на Английской набережной, Николай Васильевич очень привязался к балабинскому семейству, испытывая искренние, тёплые чувства. Гоголю в первую очередь нужны были высокоинтеллектуальные беседы и широта мысли, а этого, судя по всему, здесь было вдоволь. К тому же, Гоголь желал блеснуть своими знаниями и талантами, и такая возможность ему отличным образом представилась. Гоголь стал домашним учителем Машеньки.



*П.И. Балабин. Художник Дж. Доу*

Нежный подросток, наивная девочка, внимающая каждому слову молодого учителя, она была бесконечно открыта перед Гоголем, доверяя ему, как никому другому.

О, каким франтом в этот период своей жизни был Гоголь, как он любил щеголять, как тщательно он следил за собой, какими учтивыми манерами он всё более и более обзаводился!

Вот что пишет Кулиш, рассказывая о данном периоде гоголевской биографии: «Это была самая цветущая пора в характере поэта. Он писал все сцены из воспоминаний родины, трудился над «Историею Малороссии» и любил проводить время в кругу земляков. Тут-то чаще всего видели его таким оживлённым, как рассказывает г. Гаевский в своих «Заметках для биографии Гоголя». Прокопович вспоминает с восхищением об этой поре жизни своего друга» [100].

Далее Кулиш замечает: «Гоголь отличался тогда щеголеватостью своего костюма, которым впоследствии начал пренебрегать, но боялся холоду и носил зимою шинель, плотно запахнув её и подняв воротник обеими руками выше ушей. В то время переменчивость в настроении его души обнаруживалась в скором созидании и разрушении планов» [101].

И вправду – всё самое весёлое, жизнерадостное, блестящее характерным гоголевским юмором было задумано и написано именно в этот период. Едва ли не самый мощный всплеск творческих замыслов можно отметить в данное время.

В последующие периоды Гоголю писалось не так легко, он долго, а порой и мучительно работал над своими произведениями, но пока всё иначе! Вот Гоголь подготовил несколько новых повестей и снова обратился за советом к Плетнёву, а тот придумал для сборника заглавие, которое сумело вызвать в публике любопытство. Так появились в свет «Повести, изданные пасичником Рудым Паньком», который будто бы жил возле Диканьки, принадлежавшей князю Кочубею. Книга была принята огромным большинством любителей литературы с восторгом [102].

Общение Гоголя с Марией Балабиной будет происходить в Петербурге, а потом и за границей – в Европе, куда сначала отправится семейство Балабиных, а потом поспешит и Гоголь. Ну а в те периоды, когда молодой Николай Васильевич и Машенька находились далеко друг от друга, они, конечно же, писали письма.

Об особенностях переписки Гоголя с Балабиной прекрасно написано в сборнике, составленном А.А. Карповым и М.Н. Виролайненом. В частности, они замечают: «Переписка с М.П. Балабиной относится к наиболее интересным разделам эпистолярного наследия писателя. Она открывает новые грани личности Гоголя, отличается высокими литературными достоинствами. В письмах к Балабиной ярко проявляет себя замечательная способность Гоголя выявлять скрытый комизм повседневных житейских ситуаций. Пример тому – письмо от 30 сентября (12 октября) 1836 года, пародирующее детальную описательность, свойственную многим произведениям, созданным в жанре популярного тогда «литературного путешествия». Здесь же содержится блестящий комический диалог, заставляющий вспомнить сочинения Гоголя-драматурга. Вполне законченные художественные создания представляют собой и письма более поздней поры, заключающие колоритные зарисовки итальянского быта и нравов. Наряду с высокими эстетическими достоинствами, переписка Гоголя с Балабиной замечательна своей удивительной искренностью, естественностью, теплотой. Это в значительной степени объясняется свойствами личности гоголевской корреспондентки, глубоко индивидуальный и в то же время исторически характерный образ которой встает со страниц её писем» [103].

Гоголевские письма, адресованные Маше Балабиной, я не раз процитирую в этой книге, пока же замечу, что остепенившийся немного Гоголь, наученный опытом первой влюблённости, доведшей его до горячки и совершения глупостей, чувствам своим теперь старался давать рамки рассудка.

Ну а Мария Петровна подрастала и всё более и более становилась женственной, привлекательной, а главное – вдумчивой и осмысленной, то есть приобретала те черты и свойства, которые так ценил Гоголь. Его тянуло к этой девушке, он дышал в унисон её искренности.

Среди авторитетных биографов, однако, сложилось почти однозначное мнение о характере привязанности Гоголя к Балабиной, и чаще всего утверждается, что между Николаем Васильевичем и Марией Петровной могла быть лишь взаимная симпатия или дружеская любовь, вполне уместная в рамках отношений учителя с ученицей и вряд ли переходящая грань чего-то большего.

Впрочем, в XIX веке существовали биографические публикации, где выдвигались более смелые гипотезы, обосновывающие версию о серьёзности отношений Гоголя и Балабиной, то есть о настоящей любви, которая, к сожалению, имела важные препятствия, ведь поначалу Машенька была слишком юна и потому не могло быть речи о каком бы то ни было сближении богатой девицы и бедного репетитора, затем же, когда она повзрослела, препятствие их неравенства в свете не перестало быть досадным фактом, и потому они оставались порознь.

В нынешние времена можно найти и опыты современных гоголеведов-любителей, которые, публикуя свои тексты в Интернете, пытаются развивать версию о серьёзности отношений двух вышеназванных исторических персон.

Надо сказать, однако, что когда возникают рассуждения подобного рода (делающие намёк, или открыто говорящие о том, что Гоголь мог рассматривать для себя возможность сватовства к Балабиной), то авторы, скорее всего, держат в голове контекст других, более поздних и куда более драматических отношений Гоголя, в то время как отношение Николая Васильевича к Марии Петровне было чем-то вроде «светлой версии» его отношения к прежней таинственной незнакомке, чем-то, таившим чувство, но имевшим другой знак. Машенька была светлой противоположностью той сумрачной фигуры и, возбуждая в Гоголе симпатию, влекла к чему-то мечтательному, завораживающему и в то же время весёлому, лёгкому. Гоголю всегда было хорошо рядом с Балабиной – и в Петербурге, и за границей, где продолжатся их отношения. И любовь-то между ними безусловно была, хотя и трудно сказать, какую именно была эта любовь – скорее дружеской или всё-таки подразумевала иные оттенки? На данный вопрос могли бы ответить только двое, только они сами – Машенька и Николай могли бы прояснить эту загадку истории. Но они никогда и ни за что не приоткрыли бы завесу над этой тайной.

Несомненно лишь то, что история отношений Николая Васильевича с Марией Петровной оставила след в русской литературе. Невозможно с определённой уверенностью сказать, что же творилось в сердце Гоголя, что происходило в нём, но гоголевская литература цвела буйным цветом, она поражала красками.

В августе 1831 г. Пушкин писал А.Ф. Воейкову: «Сейчас прочёл «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно-веселою книгою» [104].

\* \* \*

С самого начала благополучного и, пожалуй, счастливого для Гоголя лета 1831 г., с Николаем Васильевичем происходили, как никогда, странные вещи: он был то рассеян, то взволнован, то впадал в меланхолически-романтические настроения, то вновь становился серьёзным и собранным. На каникулярный период он на первых порах хотел остаться в Петербурге, сняв дачу близ города (точнее – часть небольшой дачи), но потом вдруг сорвался и рванул домой в Васильевку, чем немало обрадовал мать и сестрёнок. Дома он принялся вдруг, ко всеобщему удивлению, расписывать потолки и стены яркими букетами цветов. Что-то затаённое, не высказанное никому, странно-романтическое прорвалось таким вот образом.

В отношениях с родными, то есть с матерью и сестрёнками, наблюдался самый тёплый период. Молоденький Гоголь окружил их своими заботами, собираясь всерьёз взяться за образование подрастающих проказниц, с тем чтоб устроить их судьбу и будущность наилучшим образом.

Когда вернулся обратно в Петербург, Гоголь не оставлял этих планов. Известно его письмо, которое он отправил матери, надумав забрать сестёр в столицу: *«Если бы вы знали, моя бесценная маменька, какие здесь превосходные заведения для девиц, то вы бы, верно, радовались, что ваши дочери родились в нынешнее время. Я не могу налюбоваться здешним порядком. Здесь воспитанницы получают сведения обо всём, что нужно для них, начиная от домашнего*

хозяйства до знания языков и опытного обращения в свете, и вовсе не выходят теми ветренными, легкомысленными девчонками, какими дарят институты...» [105].

Однако сестрёнки гоголевские, как нетрудно догадаться, были разного возраста, и если младшие пока оставались ещё совсем детьми, то старшая – Мария – уже заглядывалась на кавалеров, и вышло так, что в институты поступать ей уже не было никакой охоты. В жизни гоголевской семьи появился красавчик Трушковский.

Здесь нужно отметить, что в нынешней гоголеведческой литературе отчего-то укоренился стереотип, который упрямо настаивает, будто Гоголь с самого начала недолюбливал избранника своей повзрослевшей сестры и относился к нему едва не враждебно. Странно читать такие вещи, ведь наиболее авторитетные и ранние источники свидетельствуют скорее об обратном, а те, кто нынче принимается судить об отношениях Гоголя с Трушковским, путают обстоятельства завязки этих отношений с эпизодами, когда Гоголь получил тяжкую «головную боль», возникшую по причине авантюризма и расточительства своего молодого родственника.

Так вот когда обаятельный Павел Трушковский появился в Васильевке и когда в него без ума влюбилась Мария-младшая, старшая Мария, то есть почтенная гоголевская маман, была не в восторге от его, так сказать, имущественного и социального положения. Бедноват оказался красавчик-то наш.

Однако Гоголь, узнавший, что сестра влюблена и до смерти хочет замуж за этого юношу, стал на сторону сестры, решил помочь устроить её свадьбу и убедил мать обойтись без предрассудков.

Владимир Шенрок так описывает данный момент: «Для Марьи Ивановны ещё с января 1832 г. наступило надолго суетливое и тревожное время, с тех пор как один её знакомый, красивый краковский поляк, заезжий землемер Трушковский, сделал предложение её старшей дочери. Очень естественно, что с тех пор до самой свадьбы все обычные занятия и интересы были отложены или отошли на второй план, а главное внимание было устремлено на осведомления о женихе, на разные необходимые приготовления и проч. Как бывает, между родственниками нашлись люди, не желавшие этого брака и старавшиеся разбить свадьбу. Сама Марья Ивановна Гоголь желала бы видеть дочь замужем за человеком богатым и обеспеченным, тогда как у жениха состояния не было; дядя невесты, А.А. Трощинский, был со своей стороны также недоволен и ясно показывал своё неодобрение, что, в свою очередь, не могло не действовать на Марью Ивановну [106].

Гоголь, – продолжает далее Шенрок, – старался убедить домашних не останавливаться разными не стоящими ни малейшего внимания мнимыми препятствиями. Он сочувственно отнесся к намерению матери устроить свадьбу без шума и объявлял себя врагом всяких свадебных обрядов и церемоний; советовал не смотреть на пересуды соседей и на мнения дяди-генерала, но действовать решительно ввиду взаимной привязанности жениха и невесты. О богатстве он судил так: жених *«всегда может нажить его; нужны только труды. Но доброй души и прекрасных качеств человек никогда не наживет, если их не имеет»* [107].

Гоголь любил своих сестёр и по-настоящему хотел счастья для каждой из них. Однако, как у любого живого человека, у Гоголя были свои пристрастия, и одну из сестрёнок, а именно – Лизоньку, он выделял особо и уж для неё хотел самого лучшего, мечтая, что Елизавета найдёт себя, свою семью и свою судьбу в Петербурге или в Москве. Но Николай Васильевич всячески старался скрывать тот факт, что любил Лизу больше других (хотя все догадывались об этом).

Так или иначе, но, когда Гоголь следующим летом прибыл в очередной каникулярный вояж в родную Васильевку, он стал готовить младших сестрёнок к поступлению в Патриотический институт, чтобы уже осенью устроить их в это учебное заведение.



*Родительский дом Гоголя*

Хлопоча об этом, Гоголь, надо сказать, хотел создать сестрёнкам максимум удобств, доставив минимум волнений, чтобы простившись с родным домом, они тем не менее не чувствовали себя обделёнными заботой. Мария Ивановна тоже переживала на сей счёт. Неплохо было бы, чтобы в дороге и в Петербурге, пока не окажутся в институтском пансионе, за девочками присматривала бы горничная – так рассуждала Мария Ивановна. Однако Матрёна, то есть та самая горничная, была девицей на выданье и отправлять её в Петербург одну было нехорошо, ведь малютки-барышни в конце концов поселятся в пансионе, а ей придётся либо возвращаться в Васильевку самой, в одиночку, либо оставаться жить в обществе Гоголя и его слуги Якима, имея весьма неопределённый статус.

И вот Мария Ивановна и Николай Васильевич позвали Якима, который всегда следовал за Гоголем, как верный оруженосец, и принялись сватать ему эту горничную. Гоголь больше помалкивал, а Мария Ивановна повторяла: «Яким, против воли я тебя женить не буду, только если ты сам захочешь. Хочу услышать твоё мнение». Яким, надо заметить, дал своё согласие без раздумий. И вот, в Васильевке сыграли ещё одну свадьбу, на сей раз не посвящая ей долгих приготовлений. С момента сватовства до момента венчания прошло три дня. Хотя тут как посмотреть – всего лишь три дня или целых три дня!

С тех пор Яким и Матрёна всегда были вместе, сначала в Петербурге, потом снова вернувшись на Полтавщину. Гоголевский «оруженосец», в отличие от своего господина, дожил до преклонных лет, произведя на свет потомство. В старости за ним присматривал заботливый сын.

Гоголевские биографы, однако, разбирая впоследствии данный эпизод, подтрунивали над якимовской женитьбой, точнее сказать – над процессом сватовства. Но из песни слов не выкинешь. Такое вот стремительное получилось устройство личной жизни двух одиноких сердец. В ту приснопамятную пору подобные случаи были не редкость, когда дело касалось крепостных.

Мария Ивановна и сам Гоголь радовались тому, что быт любимых девочек должен устроиться неплохо, «по-семейному», однако трудностей в процессе отправки их на учёбу оказалось

гораздо больше, чем ожидалось. Во-первых, на Полтавщину напала эпидемия кори, и хотя сам Гоголь не заболел, но его сёстры подхватили эту заразу, из-за чего почти готовый уже отъезд пришлось отложить. Заминка, как потом оказалось, дорого стоила. Гоголь не имел возможности известить начальство Патриотического института, что к положенному сроку явиться не сможет, к тому же опоздание лишь увеличивалось, ведь, двинувшись наконец в путешествие, Гоголь и его подопечные с горечью досадовали на заминки в пути – беспрестанно ломался экипаж, который приходилось подолгу чинить. В городе Курске просидеть пришлось аж неделю!

На приёмном испытании в институте сёстры Гоголя разволновались и показали не очень хорошую подготовку, отчего поначалу были определены лишь в подготовительное отделение. К огорчениям Гоголя добавилось и то, что опоздание его было слишком велико, чтобы не броситься в глаза администрации, и, по настоянию начальницы Вистингаузен, ему было приостановлено жалованье на три месяца, что составляло 200 рублей – сумма, весьма чувствительная для Гоголя в его обстоятельствах. Однако надо знать характер Гоголя! Теперь он повзрослел и научился устраивать не только чужие женитьбы, но и свои дела. Он составил обстоятельное ходатайство в адрес государыни, и жалованье ему было возвращено, хотя инспектор Плетнёв, несмотря на дружеские отношения с Гоголем, был ужасно недоволен просрочкой и с досады назвал его «оригиналом». Сёстры Гоголя были наконец приняты в институт на казённый счёт, но под непременным условием, чтобы Гоголь вместо платы за них отказался вперёд от жалованья и был неотлучно при институте. Впрочем, спустя недолгий срок и это стеснение было устранено, и барышни были зачислены сверхкомплектными воспитанницами с разрешения самой императрицы. Всё это, конечно, стоило Гоголю немалых волнений, сообщает нам Шенрок, со слов которого мы приводим этот эпизод. А в то же время, по поручению матери, Гоголю приходилось иметь дело с опекунским советом и возникала даже мысль о продаже имения [108].

\* \* \*

Биографы, рассматривая 1832-й и особенно 1833 г. гоголевского творчества, в череде плодотворных лет петербургского периода жизни нашего классика называют те два года наименее продуктивными в плане создания новых произведений.

С этим утверждением можно и поспорить (ведь, понятное дело, повести пишутся не за один день и даже порой не за месяц), однако, с другой стороны, глядя на семейные и прочие обстоятельства Гоголя, навалившиеся в данный момент, совсем неудивительно, что у Гоголя не оставалось времени на творчество.

Пантелеймон Кулиш, то есть ранний биограф Гоголя, настроенный весьма благожелательно к нашему классику и даже немного романтично, в своей книге о Гоголе делает предположение, что причиной «творческого простоя» молодого классика стала новая тайная любовь. Однако другие биографы опровергают эту мысль, не находя ей подтверждений в виде твёрдых «улик». Некоторые из них судят-то, к сожалению, слишком чёрство, но мы заметим, что творческие паузы у Гоголя вряд ли могли быть связаны с возникновением новых увлечений, скорее наоборот – всякий раз, когда в гоголевской жизни был хотя бы намёк на чувствительные отношения, гоголевское перо тут же принималось создавать удивительные образы. И впоследствии мы увидим, что самый загадочный и странный из них – образ Уленьки – будет создан Гоголем в период искужительного и трагичного, но яркого увлечения.

Впрочем, не станем забегать вперёд, да и в заочную дискуссию с ранним и добросовестным биографом вступать тоже не будем, и, анализируя нынче «промер проб воды» гоголевского океана, взятых с отметки 1832 и 1833, заметим лишь, что в данный период у Гоголя было маловато времени и на творчество, и на личную жизнь, ведь он с трудом выкраивал вечерок даже на то, чтобы иногда устроить пирушку с друзьями.

Сёстры Гоголя, однако, находясь под крылышком его забот, и не подозревали, как тяжело ему далось это тревожное время. Сестрёнки вспоминали это время с удовольствием, для них это была прекрасная пора. Вот что записал впоследствии всё тот же Шенрок со слов Елизаветы Васильевны Гоголь: «Когда мы подросли, брат приехал за нами, чтобы отвести нас в Петербург, в Патриотический институт, где он преподавал историю и куда нас приняли на счет Государины. Брат хлопотал сам обо всём, входил во все подробности, даже в заказ нашего гардероба, делал нам платья дорожные, для поступления в институт и для других случаев; нас снабдили всем нужным и отправили в путь.

В Петербурге брат старался нам доставить всевозможные удовольствия, возил нас по несколько раз в театр, зверинец и в другие места. Квартиру брат переменял при нас два раза и устраивал решительно всё сам, кроме занавесок, которые шила женщина, но которые он все-таки сам кроил и даже показывал, как шить. Вечерами у него бывали гости, но мы почти никогда не выходили; иногда он устраивал большие вечера по приглашению, и тогда опять всегда сам смотрел за всеми приготовлениями и даже сам приготавливал какие-то сухарики, обмакивая их в шоколад – он их очень любил. Не выходя к гостям брата, мы все-таки имели возможность наблюдать их приезд из одного окна своей комнаты, которое выходило в переднюю. Мы прожили таким образом с братом, кажется, с месяц; в это же время он нас сам приготавливал к поступлению в институт, не забывая в то же время покупать нам разные сласти и игрушки.

Редкий был у нас брат; несмотря на всю свою молодость в то время, он заботился и пёкся о нас. Иногда по вечерам брат и сам уезжал куда-нибудь, и тогда мы ложились спать раньше. Помню, раз, именно в такой вечер, мы уже спали, когда приходит к нам Матрёна, жена брата человека Акима, будит нас и говорит, что брат приказал нас завить, так как на другой день нас отведут в институт; нас, почти спящих, завили и уложили снова. На другой день нас одели в закрытые шоколадные платья из драдедама, и брат повёл нас в институт, где передал начальнице института, М-ме Вистингаузен, она ввела нас в класс и отрекомендовала: «Сёстры Гоголя». Нас тотчас же все обступили как новеньких и вдобавок сестёр своего учителя. К нам все были очень внимательны и ласкали нас, особенно старшие. Моя классная дама в тот же день подарила мне куклу.

При нас брат оставался учителем, и когда он вызывал нас отвечать, то всех в классе очень занимало, как мы будем отвечать брату, но именно это нас и конфузило, и мы бóльшую часть совсем не хотели отвечать; когда у него бывали уроки в институте, то по окончании их он всегда приносил лакомства. Впрочем, он и сам был большой лакомка» [109].

## Глава пятая. На подходе к важному рубежу

Рассказывая о житейских делах Николая Васильевича, шедших своим чередом, нелишним будет обрисовать круг друзей Гоголя, водившихся с ним в данный период, когда молодой и по-своему дерзкий писатель, ещё не успевший устать от жизни, оставлял следы своего пребывания на мостовых Северной столицы.

С «арены», на которой Гоголь вёл напряжённую борьбу с превратностями судьбы, он имел обыкновение сходив время от времени «в уединённый круг своих приятелей», где можно было если не отдохнуть – «в это время он не отдыхал почти никогда, но жил постоянно всеми своими способностями», – то по крайней мере отвлечься и переменить обстановку. Круг этот был составлен преимущественно нежинскими «однокорытниками», к которым с большей или меньшей степенью близости примкнули и другие лица. Среди них находился и автор только что процитированных слов Павел Васильевич Анненков – молодой чиновник Министерства финансов, в недавнем прошлом студент Петербургского горного института и историко-филологического факультета Петербургского университета. Согласно уточнению Анненкова, он познакомился с Гоголем в 1832 г. Свой рассказ он начинает с описания квартиры Гоголя на Малой Морской:

«...Я живо помню тёмную лестницу квартиры, маленькую переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где он [Гоголь] разливал чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным книгами, и письменным бюро возле него» [110]. По словам Анненкова, ему довелось не раз бывать в этой квартирке. Здесь он встречал двух самых близких приятелей Гоголя – А. Данилевского и Н. Прокоповича.

Александр Данилевский, пережив свой неудачный кавказский роман, вернулся в Петербург около 23 марта 1833 г. Он оставил военную службу и поступил на гражданскую, в Министерство внутренних дел [111].

Вместе с Александром Данилевским на одной с ним квартире жил какое-то время его брат Иван, окончивший Нежинскую гимназию. Что же касается Прокоповича, то он по-прежнему писал стихи, увлекался театром, появляясь на сцене в третьестепенных ролях и в довершение всего влюбился в актрису. В декабре 1832 г. Гоголь писал Данилевскому, проживавшему ещё на Кавказе, что «Красенькой (таким было прозвище Прокоповича) заходилась не на шутку жениться на какой-то актрисе с необыкновенным, говорит, талантом, лучше Брянского», а в октябре следующего года сообщал В. Тарновскому как уже о свершившемся факте: «Прокопович Николай женился на молоденькой, едва только выпущенной актрисе». Это, как сообщает биограф Прокоповича, Марья Никифоровна Трохнева, дочь коллежского советника [112].

К концу 1832 г. в Петербург приехал и брат Николая Прокоповича Василий. Кто еще бывал на квартире Гоголя? Конечно, Иван Григорьевич Пашенко, служивший в Министерстве юстиции. Гоголь хотя и подтрунивал над его страстью сочинять («...известный лгунишка бумаги в юстиции пишет» [113]), но ценил доброту, понятливость, ум и считал хорошим товарищем.



*Дом Лепена на Малой Морской*

Бывал у Гоголя и В.И. Любич-Романович, который в это время служил в одном из департаментов Министерства юстиции.

Гоголевский кружок имел совершенно своеобразную атмосферу: хоть разговор порою затрагивал и весьма серьезные предметы, надо всем, казалось, безраздельно «царствовала веселость». Об этом есть несколько прямых и косвенных свидетельств. Журналист А.И. Урусов (выступавший под псевдонимом А. Иванов) сослался на воспоминания «современника г. К-го», «с которым, – говорит Урусов, – я на днях беседовал и которого благодарю здесь за любезное сообщение некоторых сведений о Гоголе».

В то время господствующим качеством (*qualité maotresse*) Гоголя была необыкновенная сила общительного юмора при большой скрытности характера. Когда Гоголь читал или рассказывал, он вызывал в слушателях неудержимый смех, в буквальном смысле слова – смешил их до упаду. Слушатели задыхались, корчились, ползали на четвереньках в припадках истерического хохота. Любимый род его рассказов в то время были скабрзные анекдоты, причём рассказы эти отличались не столько эротической чувственностью, сколько комизмом во вкусе Рабле. Это было малороссийское сало, посыпанное крупной аристофановской солью [114].

Автором этого свидетельства, вероятнее всего, является Андрей Александрович Краевский (1810–1889), выпускник Московского университета, с 1834 г. помощник редактора «Журнала Министерства народного просвещения», впоследствии известный журналист, издатель «Отечественных записок», «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Голоса». Краевский общался с молодым Гоголем; есть сведения, что он встречался с Гоголем у Плетнёва и у себя дома. Свидетельство другого современника подтверждает, что Краевский судил о весёлости Гоголя не понаслышке: «Вечер (3 января 1836 г.) провёл у Краевского. Там было довольно молодежи, был и Гоголь, всякую всячину рассказывал, множество анекдотов, очень замысловатых...» [115]. Дожив до глубокой старости, Краевский мог в 1881 г. поделиться с журналистом своими воспоминаниями [116].

Участием слушателей «весёлость» Гоголя еще более усиливалась. «Ему всегда нужна была публика. Случалось также, что в этих сходках на Гоголя нападала беспокойная, судо-

рожная, горячая весёлость – явное произведение материальных сил, чем-либо возбужденных» [117]. Кулиш, опираясь на рассказы современников, отмечал, что писатель «любил проводить время в кругу земляков. Тут-то чаще всего видели его таким оживлённым. Г. Прокопович вспоминает с восхищением об этой поре жизни своего друга. У него я видел портрет Гоголя, рисованный и литографированный Венециановым...» [118]. Этот единственный сделанный с натуры литографированный портрет Гоголя [119] широко известен. Писатель предстает на нем жизнерадостным, весёлым, но не без тени затаенного лукавства; он гонится за модой, стремится к щегольству, одет в узенький сюртучок, прическу венчает знаменитый кок, который С.Т. Аксаков назвал хохолком [120].

О весёлом расположении Гоголя рассказывает со слов М.С. Щепкина А.Н. Афанасьев. Хотя эти зарисовки относятся преимущественно к пребыванию Гоголя в Москве (начиная с первого знакомства его с актером в 1832 г.), они, разумеется, сохраняют свою силу и применительно к петербургской поре [121].

«В то время Гоголь еще был далёк от тех мрачных аскетических взглядов на жизнь, которые впоследствии изменили его характер... он бывал шутливо весел, любил вкусно и плотно покушать и нередко беседы его с Михаилом Семёновичем склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаний» [122]. Гоголь придерживался «вкуса Рабле» не только в комизме и островах, часто неприличных, но и в еде. Культ еды отмечает у Гоголя и его «однокрытников» и другой мемуарист: «Приятель сходились... также друг у друга на чайных вечерах, где всякий очередной хозяин старался превзойти другого разнообразием, выбором и изяществом кренделей, прибавляя всегда, что они куплены на вес золота. Гоголь был в этих случаях строгий, нелюбезный судья и оценщик» [123].



*М.С. Щепкин. Художник Н.В. Неврев*

Еда сопровождалась не только чаем, но и винным возлиянием, в котором Гоголь знал толк. Винам он давал, по словам М.С. Щепкина, названия «Квартального» и «Городничего», как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке всё в должный порядок [124].

Вдохновенно говорит Гоголь о вине в письме Максимовичу: «Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая весёлость. Есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина. Когда душа твоя потребует другой души, чтобы рассказать всю свою полугрустную историю, заберись в свою комнату и откупори её, и когда выпьешь стакан, то почувствуешь, как оживятся все твои чувства. Это значит, что в это время я, отдалённый от тебя 1500 верстами, пью и вспоминаю тебя» [125].

\* \* \*

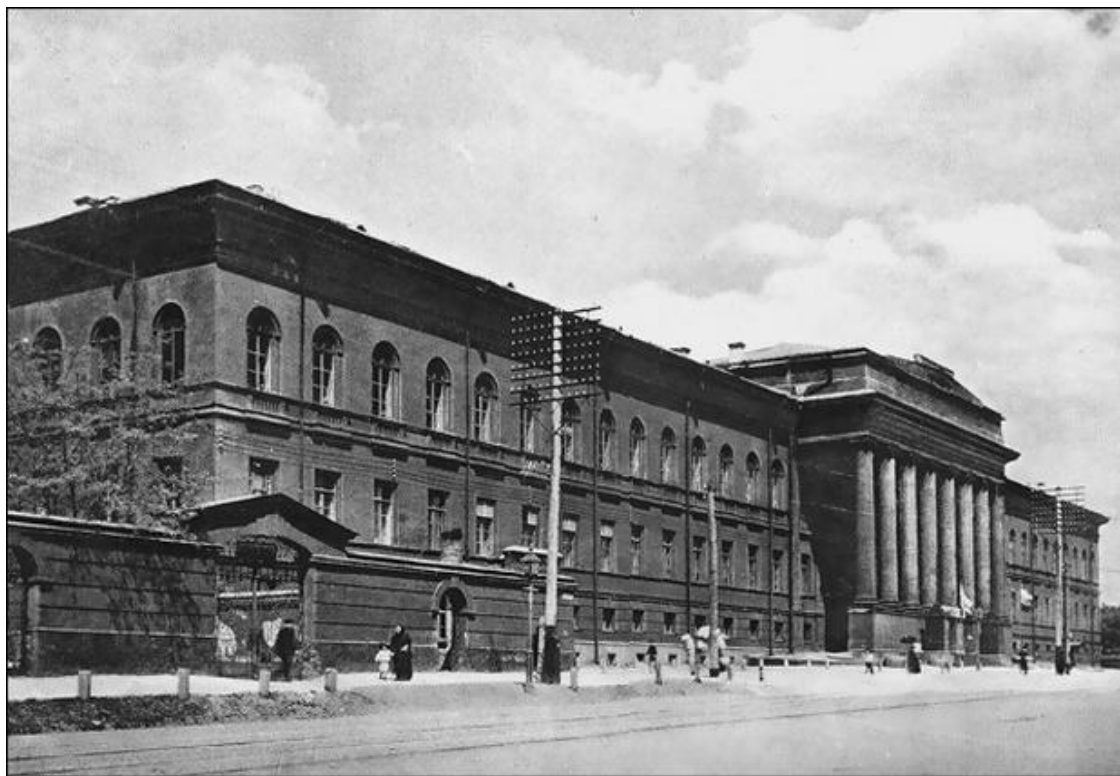
Пирушки с друзьями, о которых шла речь в цитатах мемуаристов, упомянутых выше, не были, однако, столь частыми, чтобы повредить гоголевскому труду пробивания пути в неподатливой породе жизни, и в общем и целом взрослеющий Гоголь сумел держать себя в умеренности. Оттого, быть может, на рубеже 1834–1835 гг. Гоголь дописывал одновременно сразу несколько произведений. Поразительно, как много он успел сделать в решающий для него 1834 г.! Верный себе, он испытывает себя в разных жанрах, пробует идти одновременно несколькими путями.

Это, во-первых, литературная и художественная критика – направление, намеченное ещё набросками о пушкинском «Борисе Годунове», о поэзии Козлова и т. д. Известно, что в этот год Гоголь завершил ряд статей, задуманных или начатых ранее, в том числе «Несколько слов о Пушкине», и написал «Последний день Помпеи» (под статьей дата: «1834. Август», видимо, соответствующая действительности: картина К. Брюллова была привезена в Петербург и выставлена в Академии художеств в конце лета этого года) [126].

Во-вторых, Гоголь продолжает усердно трудиться на драматургическом поприще. Согласно дневнику Пушкина, 3 мая в его присутствии Гоголь читал «свою комедию» у бывшего арзамасца, министра юстиции Д.В. Дашкова. Идея «Ревизора» ещё не возникла, «Владимир 3-й степени» отодвинут в сторону; следовательно, скорее всего, Гоголь читал новую пьесу «Женихи» (будущую «Женитьбу») или же одну из «маленьких комедий», возникших, так сказать, из обломков «Владимира 3-й степени» [127].

Работу над комедиями Гоголь продолжает всё лето в разгар хлопот о кафедре в Киевском университете и при получении места адъюнкта в университете Петербургском. 14 августа он сообщает Максимовичу, что «на театр здешний» ставит «пиесу» да ещё готовит «из-под полы другую». Речь, по-видимому, идет о «Женитьбе» и одной из «маленьких комедий».

Но это еще не всё. В том же письме Максимовичу он сообщает: *«Я тружусь как лошадь, чувствуя, что это последний год, но только не над казённой работою, т. е. не над лекциями, которые у нас до сих пор ещё не начались, но над собственно своими вещами»* [128]. Эти «вещи» – повести, которые Гоголь пишет или дописывает, чтобы составить новые книги.



*Здание университета в Киеве*

И уже через месяц-полтора две книги составлены, и каждая – из двух частей!

Примечательно, что сразу в нескольких гоголевских повестях, составивших сборники, вышедшие в эти годы, снова затрагивается любовная тематика. Теперь разговор о любви в гоголевских текстах – это уже не поток выпренности-пафосных восклицаний, а что-то совсем другое, иначе переживаемое. Здесь появляется масса иных нюансов, оттенков, полутонов. Особенно интересен в данном отношении «Невский проспект», любовные контакты персонажей в котором происходят и на трагическом, высоком уровне (Пискарев и незнакомка), но и на уровне комедийном и низком (Пирогов и немочка). Гоголь теперь, во всяком случае в литературе своей, более раскрепощён и свободен.

Но любопытнее всего выглядит тот факт, что в числе повестей, вошедших в «Вечера на хуторе...», из-под гоголевского пера выходят сразу две чрезвычайно яркие истории счастливой, разделённой любви. Это, во-первых, любовь бесконечно милых «старосветских помещиков», во-вторых, любовь Вакулы и Оксаны. И если с источником вдохновения при создании «старосветской любви» есть определённая ясность – Гоголь описывал мелодичность отношений его родителей, то комическая и весёлая, но нисколько не лишённая драматизма любовь Вакулы-кузнеца представляется особой нотой, имеющей новизну и в гоголевском творчестве, и в литературе вообще.

Как все мы помним из гоголевского текста, знакомого с детства, любовь Вакулы сумела пройти испытания и стать взаимной. Мировая литература же, да и жизнь человеческая вообще отчего-то устроены так, что весьма нередко способны создавать истории несчастной любви, а вот обратные случаи – редкость! О, сколько талантливых романов о разлучённых влюблённых, о предательстве любимого человека, обо всём том, что звучит в тягостном миноре! О, как много сказано о жестоких драмах любви! А если взять удачные, жизнеспособные истории, созданные о взаимной, счастливой и бережно сохранённой любви, то сыщется ли достаточная масса удачных примеров? Мало их, тех историй, что описывают взаимность и гармонию, но не являются скучными и банальными.

Так вот гоголевская «Ночь перед Рождеством» сумела явиться тем редким примером интересного, ничуть не банального рассказа о любви сильного, решительного человека к красивой, недоступной женщине, сердце которой он всё же завоёвывает, достигая счастья для двоих.

В начале повести мы узнаём, что Вакула любит, сильно любит, но понимает, что одного этого, к сожалению, мало, и совершает в конце концов подвиг во имя своей Оксаны, сумев обуздать демоническое начало, витающее поблизости. И так это необыкновенно подано Гоголем, столько доброты в этом, столько искренности!

На мой взгляд, тонкий смысл этого произведения и сейчас ещё недооценён, когда литературоведами написаны уже сотни страниц о нём. «Ночь перед Рождеством» если не самое лучшее, то одно из лучших произведений о любви, причём созданное по тому завету, который позднее будет дан Чеховым. Помните, в «Чайке» устами своего героя он утверждал, что жизнь надо изображать не такую, как она есть, и не такую, как она должна быть, а такую, как она представляется нам в мечтах.

Сам по себе сюжет, использованный Гоголем, то есть рассказ о борьбе доброго героя с демоническим, нечистым началом, конечно же, имеет корни ещё с библейских и античных времён; у древних греков мы можем подобное встретить, да и много ещё где. Но у Гоголя всё решено с таким преображающим юмором, с такой ловкой переменной акцентов, с такими неожиданными пассажами, что в образе Вакулы возникает-таки дивная новизна.

Создавая историю о любви Вакулы к Оксане, Гоголь нарушает намеренно и дерзко едва ли не все законы, которые диктует нам обыденность и традиция (как литературная, так и житейская). Гоголевский Вакула вступает в союз с нечистой силой, но не только не собирается закладывать душу дьяволу, а, напротив, ухитряется победить непутёвого дьявольского слугу, находя для себя не бесчестье, а благочестие. И главный-то смысл гоголевской повести состоит, конечно же, в том, что любовь располагается выше всех прочих явлений в мироздании и, уж конечно, сильнее пределок чёрта.

Вакула – это уже совсем не Ганц Кюхенгартен, да и Оксана – это уже не простенькая Луиза. Оксана сложна, притягательна, а достигается это тем, что она очень настоящая, это реальная, живая женщина, своенравная, но бесконечно манящая к себе. Можно придраться к некоторым другим женским образам Гоголя, но только не к этому, ведь этот образ продвинулся куда-то близко к совершенству. И о движении этом рассказано у Гоголя такими забавляющими словами, так озорно, так дурашливо, но вместе с тем обволакивающе-мягко, что не требуется ничего лишнего. Читаешь про ту ночь перед тем Рождеством, и в душе загорается фонарик прекрасной фантазии счастья.

А ведь откуда-то же Гоголь взял всё это? Откуда-то он это почерпнул? Художник способен раскрыть такие образы, лишь будучи хоть отчасти знаком с их переживанием. Иначе не бывает, не может что-то взяться из ничего. И получается, что в душе молодого Гоголя блуждали мечты, жили сладкие иллюзии, таилась надежда оказаться на волне той мелодии, что прозвучала в нём тогда, что звучит для нас до сих пор.

В описываемый период Гоголь по-особенному сблизился с семейством Балабиных.

\* \* \*

Классик наш, как мы помним, очень любил перемену мест и в каникулярные периоды, как правило, баловал себя путешествиями, однако после того, как забрал младших сестрёнок, два года подряд оставался в Петербурге, позволяя себе выезжать разве что на пригородные дачи к знакомым. Долгов у Гоголя накопилось столько, что он за голову хватался.

В те два лета, которые наш классик вынужден был провести в душном Петербурге, окруженном легендарными болотами, он едва ли не со слезами жаловался Погодину и Максимо-

вичу на нестерпимый в летние месяцы петербургский воздух. В столице к тому же летом не было излюбленной компании для Гоголя. «*Наши все разъехались – сообщал он в письме Максимовичу, написанном в июне 1834 г., – Пушкин в деревне, Вяземский удрал за границу*».

Сёстры Гоголя хотя и жили в институтском пансионе, но Гоголь постоянно опекал их. Однако они всё же подрастали, к тому же давно привыкли к своему новому дому. И вот летом 1835 г., когда финансовые дела Гоголя, как казалось, понемногу улучшились, он решился дать себе немного свободы и в начале мая взял отпуск от преподавательской своей работы и выехал в очередной каникулярный вояж, задумав на сей раз путешествие поистине грандиозное, достойное полёта Вакулы. В планы входили и Москва, куда наш писатель прибыл уже скоро в сопровождении товарища своего – Александра Данилевского, и родная Васильевка, и Крым, и Новороссия, и даже Кавказ.



*Патриотический институт благородных девиц в Санкт-Петербурге*

Особенно приятным выдалось посещение Москвы. Предыдущая поездка Гоголя в Белокаменную состоялась весной 1832 г., сразу же после выхода второй части «Вечеров на хуторе...». Гоголь тогда направлялся в Васильевку, чтобы забрать сестёр для поступления в Патриотический институт, и, заехав по пути в первопрестольную столицу, встретил там теплоту и признание.

Теперь он ехал как автор «Арабесок» и «Миргорода» и готовился к новому взлету своей славы. Так оно и случилось. Москвичи с нетерпением ждали его появления.

«В один вечер, – вспоминал впоследствии С.Т. Аксаков, – сидели мы в ложе Большого театра; вдруг растворилась дверь, вошёл Гоголь и с весёлым дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку со словами: «Здравствуйте!» Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин... забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем вошёл к нам в ложу Александр Павлович Ефремов, и Константин шепнул ему на ухо: «Знаешь ли, кто у нас? Это Гоголь». Ефремов, выпуча глаза также от изумления и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость покойному Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых» [129].

Публику в театре тем временем охватило возбуждение. «В одну минуту несколько трубок и биноклей обратилось в нашу ложу, и слова «Гоголь, Гоголь» разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал» [130].

С этого времени начинается дружба Гоголя с семейством Аксаковых, и в первую очередь с Сергеем Тимофеевичем, а дом Аксаковых будет всегда открыт для Гоголя.

В середине мая этого года, выдавшегося необычайно жарким, Гоголь покидает Москву и направляется в Васильевку. Радостная встреча с матерью омрачилась, однако, плачевным положением, в котором оказалось домашнее хозяйство гоголевской родительницы, выдавшей свою старшую дочь за уже знакомого нам Павла Трушковского. Павел Осипович не имел средств, но задумывал прожекты. Человек он был, по всей видимости, неплохой, во всяком случае, заслужил любовь своей спутницы, да и с Гоголем очень хотел подружиться. Но теперь приятностям отношений с родственником мешали кое-какие обстоятельства. Впрочем, когда Николай Васильевич, приехав, увидел своего маленького племянника, которого ещё и назвали Колей в честь дяди, то сердце нашего классика растаяло довольно скоро.

Досадными обстоятельствами, о коих идёт речь, были именно те, что уже упоминались в нашей книге (в самом начале), то есть случился аврал, а точнее сказать, финансовое фиаско с затеянным Трушковским кожевенным заводом, средства на который выделила тёща Мария Ивановна Гоголь. Предприятие оказалось более рискованным, чем представляли себе она и её незадачливый зять, ведь, продав часть земель, которые ей принадлежали, да к тому же собрав всю имевшуюся наличность, в том числе предназначенную на содержание подрастающих дочерей, деньги было решено вложить в новое дело, для которого нашёлся вдруг некий оборотистый фабрикант-компаньон.

Гоголь, несмотря на молодость своих лет, с самого начала относился к этой затее с осторожностью, предостерегал родственников как мог. Когда же понял, что они не на шутку загорелись устройством кожевенной фабрики, пытался давать дельные советы в письмах из Петербурга (и, что любопытно, эти рекомендации и вправду были полезными и весьма конкретными). Гоголь настаивал, чтобы мать и молодой зять вели строгий счет деньгам, наладили сначала сам производственный процесс, то есть начали выделывать кожу (в помещениях имевшихся в имении подсобок) и получать первые доходы, а уж о возведении отдельных зданий позаботились бы во вторую очередь, а главное, не очень доверяли приглашенному «фабриканту».

Но, к несчастью, никакие советы и предостережения не помогли, фабрикант оказался мошенником и улизнул, прихватив денежки, оставив Трушковского в дураках, а Марию Ивановну на мели, да ещё с большими долгами.

И вот по приезде в родную Васильевку вместо желанного отдыха Гоголю на сей раз пришлось суетиться и думать о том, где бы раздобыть средств на поправку плачевного положения дел, как выгоднее продать хлеб, сало и другие продукты, которые удалось собрать, то есть поскрести по сусекам родного имения. Позже, уже вернувшись в столицу, Николаю Васильевичу пришлось снова искать средств для поддержания родственников, ведь «дыры в бюджете» его неосмотрительной родительницы оставались большими и долги ещё долго висели камнем на её шее.

Однако тем летом, кое-как справившись с «авралом», Гоголь всё же продолжает задуманное им путешествие по городам российского юга, хотя по понятным причинам тур пришлось сократить и втиснуть в режим «жесткой экономии». Тем не менее Гоголь не спешил сдаваться перед лицом неурядиц и расположение духа сумел сохранить весьма бодрое.

Жуковскому молодой путешественник написал следующее: *«Всё почти мною изведано и узнано, только на Кавказе не был, куда именно хотел направить путь. Проклятых денег не стало и на половину вояжа. Был только в Крыму, где пачкался в минеральной грязи. Впрочем,*

*здоровье, кажется, уже от одних переездов поправилось. Сюжетов и планов нагромодилось во время езды ужасное множество, так что если б не жаркое лето, то много бы изошло теперь у меня бумаги и перьев; но жар вдыхает страшную лень, и только десятая доля положена на бумагу и жаждет быть прочтенною вам. Через месяц я буду сам звонить в колокольчик у ваших дверей, кряхтя от дюжей тетради» [131].*

Не удивляйтесь, что в одних письмах Гоголь обращается к Жуковскому на «вы», а в других – на «ты». Дело в том, что в молодости Гоголя отношения двух этих литераторов ещё имели некую дистанцию, но чем дальше, тем больше становились всё более дружескими, и в конце концов эти двое перешли на «ты» и в письмах тоже.

Продолжим, однако, нашу хронологию, то есть промер глубин гоголевского океана. У Кулиша содержатся любопытные сведения о завершении гоголевских странствий лета 1835 г.: «По пути в Петербург Гоголь посетил в Киеве М.А. Максимовича и прожил у него около пяти суток, совершая прогулки по Киеву и его окрестностям, в сопровождении Максимовича или кого-нибудь из товарищей по Нежинской гимназии, служивших теперь в Киеве. Он долго просиживал на горе у церкви Андрея Первозванного и рассматривал вид на Подол и на днепровские луга. В то время в нем ещё не было заметно мрачного сосредоточения в самом себе и сокрушения о своих грехах и недостатках; он был ещё живой и даже немножко ветреный юноша. У Максимовича хранятся цинические песни, записанные Гоголем в Киеве» [132].

Когда Гоголь вернулся в Петербург, вынужден был узнать, что уволен из Патриотического института за долгое отсутствие в стенах сего славного заведения. Так окончилась педагогическая карьера Гоголя. Сам-то он, однако, увольняться не собирался, надеясь, что вынужденные прогулы ему снова простят. Более того, Николай Васильевич, было дело, собирался ещё выше продвинуться по стезе преподавания, надеясь ни много ни мало стать университетским профессором.

Чуть выше у нас вскользь было упомянуто о том, что Гоголь хлопотал об университетской кафедре, а здесь, пожалуй, надо сказать об этом чуть подробнее, ведь данный эпизод как-никак считается знаковым в гоголевской биографии.

\* \* \*

Итак, после неплохого начала педагогической деятельности карьера Гоголя-учителя развивалась в общем и целом неплохо (в марте 1834 г. «в награду отличных трудов» Гоголь пожалован от Её императорского величества бриллиантовым перстнем). И вот Гоголю захотелось изменить свою жизнь, выйти на другую ступень социальной иерархии. А в Киеве в тот момент готовился к открытию университет. Николай Васильевич начал настойчиво хлопотать о месте профессора по всеобщей истории. Именно этот предмет и эта кафедра представлялись ему желанными.

Но Гоголь не преуспел в своём мероприятии, несмотря на то что задействовал связи и протекцию влиятельных знакомых. Ничего не помогло. Более опытный конкурент обошёл нашего молодого историка-литератора. Чуть позже Гоголю предложили кафедру русской истории в этом же университете (однако определить его статус соглашались не как профессора, а лишь в качестве адъюнкта). Николай Васильевич стал в позу обиженного и служить в создаваемом заведении отказался вовсе. Молодому Гоголю казалось, что его гений, его знания и его уже довольно известное имя дают ему право на почётный статус.

Несмотря на произошедшее недоразумение, окончившееся едва ли не конфликтом, университетскую кафедру Николаю Васильевичу занять всё же удалось – в столице, в самом Петербурге где, по протекции Жуковского Гоголь начал читать лекции, причём именно по всеобщей истории, хотя и согласившись теперь на адъюнкта.

Однако пребывание Гоголя на университетской кафедре стало одной из маленьких драм, да к тому же немного комичным и бестолковым эпизодом биографии нашего классика, вызвавшим нелюбимые отклики современников, а затем и исследователей. Большинство мемуаристов считало, что Гоголь потерпел неудачу, даже сокрушительное поражение, что сан профессора был не по нём. «Он был рождён для того, чтоб быть наставником своих современников; но только не с кафедры» (И.С. Тургенев). В потоке суровых суждений тонут голоса сочувствовавших.

Существует целый ряд биографических исследований, в которых описываются курьёзные истории о том, как неумело Гоголь читал лекции, как нелепо принимал экзамены у студентов. Местами эти рассказы вызывают улыбку, местами в рассказах этих явственно проглядывают преувеличения и намеренное желание рассказчиков придать эпизоду нарочитую анекдотичность.

Немалая часть авторов, когда доводилось им оставить шутливо-ёрнический тон, утверждала, что для преподавания в Петербургском университете Гоголю не хватило знаний и усердия к овладению предметом. И хотя не исключено, что в этом есть доля правды, однако же стереотип, сложившийся о каком-то почти невежественном отношении Гоголя к исторической дисциплине, о нежелании его глубоко вникнуть в предмет, всё-таки не верен. Причины неудач Гоголя на кафедре куда сложнее, чем обычная некомпетентность, ведь историей, причём не только историей запорожского казачества и России в целом, а всемирной историей Гоголь интересовался с усердием учёного-профессионала.

Вот вам один лишь пример. В мае 1835 г. у Гоголя возник замысел пьесы «Альфред». К сожалению, это произведение не было завершено. До нас дошёл лишь фрагмент (опубликованный П.А. Кулишом в «Сочинениях и письмах Н.В. Гоголя» (СПб., 1857. Т. 2) под заглавием «Альфред. Начало трагедии из английской истории».

Главный её герой – король Уэссекса Альфред Великий, правивший в Англии в 871–900 гг. Ему удалось приостановить натиск датских викингов на Восточную Англию и норвежских – на Северо-Западную. Он прославился как мудрый правитель, покровитель наук и искусств и законодатель.



*Альфред Великий. Старинная гравюра*

Теперь внимание! В качестве источников для пьесы Гоголь использовал «Историю завоевания Англии норманнами» (1825 г. выпуска) французского историка О. Тьерри, русский перевод «Истории Англии» французского историка XVII в. Рапена де Туараса, французский перевод книги английского историка Г. Галлама «Европа в средние века», а также переводы скандинавских саг.

В книге «Гоголь» Б.В. Соколов так характеризует содержание данной пьесы: «В своём сочинении Гоголь рассматривает соотношение цивилизации и варварства, противостояние христиан-англосаксов и язычников-викингов. Он учитывал характеристику первых семи лет царствования Альфреда: «Наполненный идеями о неограниченной власти, которые так часто встречаются у римских писателей, он жадно хотел политических реформ и составлял планы,

вероятно лучшие, древних англосаксонских обычаев, но которым недоставало согласия народа, не желавшего и не понимавшего их». Альфред у Гоголя обращается к англосаксонской знати: «Я надеюсь, что вы окажете с своей стороны мне всякую помощь разогнать варварство и невежество, в котором тяготеет англосаксонская нация». Вместе с тем он, следуя христианским заветам, готов решить дело миром даже со злейшими врагами – викингами, отпуская разбитого предводителя норвежцев Губбо, вырвав у него клятву более не ступать со своими воинами на англо-саксонскую землю. А в Губбо есть что-то от главного героя «Тараса Бульбы», который вполне мог бы повторить вслед за предводителем норвежцев: «Пойдем, товарищи. Нам не стыдно глядеть друг на друга. Мы бились храбро. Не сегодня – завтра, не здесь – в другом месте нанесут наши ладьи гибель неприятелям, носящим золотое убранство...» Хоть Тарас Бульба и православный, но в первую очередь он представляет степное украинское казацкое «варварство», восставшее против польской католической «цивилизации», и это роднит его с поклонником Одена (Одина) Губбо, сражающимся против «носящих золотое убранство» [133].

Итак, для работы над неоконченной пьесой Николай Васильевич, как мы видим, перелопатил несколько разнообразных источников, в том числе иностранных, иноязычных. Можно ли говорить о том, что он был недостаточно добросовестным историком?

Нет, дело состояло совсем не в том, что Гоголь был некомпетентен и не хотел приобретать эту компетентность, просто преподавание чем дальше, тем больше становилось для Гоголя «совместительством». Оно отнимало время от главного, от самого главного – литературной деятельности, как связанной с историей прошлых эпох, так и с той исторической реальностью, что вершилась на глазах Гоголя.

Однако занять-то кафедру в Петербурге Гоголь всё-таки занял и даже начал читать лекции (впрочем, довольно нерегулярно), но убедить студентов и коллег в собственном профессионализме (вернее, профпригодности) не сумел. Как мы уже говорили выше, Гоголь был неплохим учителем для девиц-патриоток (а если бы не пропускал занятия, мог и вовсе являться отличным преподавателем истории в Патриотическом институте), но взять планку Петербургского университета ему не удалось. Однако главным объяснением неудачи будет вышеупомянутое обстоятельство: взявшись за чтение лекций, Николай Васильевич всё же не хотел и не имел возможности посвятить всего себя этой стезе. В данный период гоголевской жизни, когда литературная карьера молодого гения шла в гору, по резко нарастающей траектории, ему и думать нечего было о «совместительстве». Вот потому дело с преподаванием и не сладилось, а Гоголь оказался в щекотливом положении.

Но Гоголь, по меткому определению Кулиша, всё ещё оставался немного ветреным юношей и потому крылышки складывать отнюдь не собирался. Движение птицы-Гоголя продолжилось дальше. Да, завалился на бок в очередном авантюрном полёте, да свалился на грешную землю, но разбиться не разбился, а оказался лишь чуть взъерошенным. В письме одному из друзей, Погодину, Гоголь написал следующее: *«Я расплевался с университетом, и через месяц опять беззаботный козак. Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с неё. Но в эти полтора года – годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за своё дело взялся, – в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня... Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой к чердаку! Вас никто не знает, вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения; когда вы исторгнетесь с большою силою и не посмеет устоять бесстыдная дерзость ученого невежи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика... и проч. и проч... Я тебе одному говорю это; другому не скажу я: меня назовут хвастуном, и больше ничего. Мимо, мимо все это!»* [134]

*Теперь вышел я на свежий воздух. Это освежение нужно в жизни, как цветам дождь, как засидевшемуся в кабинете прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здрав-*

*стает комедия! Одну («Ревизор») наконец решаю дать на театр, приношу переписывать экземпляр для того, чтобы послать к тебе в Москву, вместе с просьбою предупредить кого следует по этой части. Скажи Загоскину, что я буду писать к нему об этом, и убедительно просить о всяком с его стороны вспомоществовании, а милому Щепкину, что ему десять ролей в одной комедии; какую хочет, пусть такую берет; даже может разом все играть. Мне очень жаль, что я не приготовил ничего к бенефису его. Так я был озабочен это время, что едва только успел третьего дня окончить пиесу. Той комедии, которую я читал у вас в Москве («Женихи»), давать не намерен на театр» [135].*

Гоголь «на свободе»! С этого времени и навсегда он должен будет полностью посвятить себя литературной работе.

1835 г. во многих аспектах является поворотным годом для Гоголя, ведь помимо вышеописанных обстоятельств этот год ознаменован возникновением и проращением двух важных зёрен, каждому из которых суждено вырасти в необычайное дерево. Конечно же, речь идёт о «Ревизоре» и «Мёртвых душах», ведь замысел, а точнее сказать, идея написания этих произведений (главных, стержневых произведений русской драматургии и литературы) пришёл к Гоголю именно в этот момент и начало работы над этими произведениями происходило практически параллельно.

В литературоведении существовали и продолжают существовать споры относительно того, насколько сильным было влияние Пушкина на формирование в гоголевской голове двух этих сюжетов, и о том, насколько «готовыми» Пушкин их Гоголю «передал». Сам Гоголь настаивал на максимальной степени вовлечённости Пушкина в этот процесс, уверял, что Пушкин является истинным родителем этих сюжетов и их литературной основы. Гоголь искренно любил Пушкина, ценил его редкостный, яркий талант и, не обладая тем эгоизмом, который может быть свойствен человеку мелочному, пожалуй, преувеличивал влияние Пушкина на появление этих сюжетов, вернее, выдавал какие-то общие контуры идей, высказанных Пушкиным, за полноценное авторство сюжетов и литературной фабулы, созданной на самом-то деле им самим. К тому же Гоголь подразумевал некую преемственность своего творчества с пушкинским, для него было важно подчеркнуть тот факт, что он, Гоголь, является непосредственным продолжателем дела Пушкина.

Но если всерьёз анализировать характеристики двух этих гоголевских произведений, детально и вкрадчиво всматриваться в них, то никак нельзя уйти от того, чтобы заметить, что сюжеты эти, и идейность их, и их посыл, и их ключевые мотивы, стилистические особенности – словом, и всё главное, и всё второстепенное имеет ярко выраженную гоголевскую суть, это именно гоголевская литература, от первой до последней буквы, от первой до последней интонации, от первого до последнего нюанса. Пушкинская литература – другая, совсем другая, и сам Пушкин совсем иной, юмор его устроен по-другому, и идейность его иная. Преемственность, конечно, есть, во всяком случае духовная, но природа этих великих явлений (имеются в виду гоголевские сюжеты) значительно отличается от природы пушкинского творчества.

Если говорить о конкретной идее, послужившей отправной точкой для появления в гоголевской голове образа Хлестакова и образа Чичикова, то бесспорным является тот факт, что Пушкин во время встреч с Гоголем, конечно же, рассказывал о забавных случаях, анекдотичность которых близка тем сюжетам, что оформились в конце концов у Гоголя. Но дело в том, что не один Пушкин рассказывал о подобного рода пассажах и оказиях.

К нынешнему моменту накоплено уже немало материала в гоголеведении, который свидетельствует как минимум о нескольких источниках возникновения сюжета «Мёртвых душ», да и «Ревизора» тоже, и потому можно было бы констатировать, что Пушкин всё же не является «кровным родителем» этих прекрасных «детей», максимум – «крёстным отцом». Однако, памятуя о том, что споры вокруг вопроса «дарения» Пушкиным сюжетов, превращённых Гого-

лем в шедевры мировой литературы, являются до сих пор довольно жаркими, оставим их всё же в покое, дабы не удаляться от главной нашей темы. Важным для нас в данный хронологический период гоголевской биографии является один этот факт – начало, практически параллельное начало работы над двумя удивительнейшими произведениями, каждое из которых повлияет не только на последующую судьбу русской литературы, на русскую историю, но и на жизнь Гоголя, на гоголевскую судьбу.

Сходства, однако, между двумя вышеупомянутыми произведениями заканчиваются весьма скоро. Пьеса была написана Гоголем «на кураже», создана за короткий срок и почти сразу же представлена публике, поэма же потребует долгих лет и трудных усилий. Гоголь отдал ей все свои силы.

Но до поры не станем заглядывать за иной перевал, пока – кураж!

Да, гоголевский гений куражился, он источал яркий, искромётный юмор и совсем иной пафос, чем на старте литературного творчества. Теперь это тончайший и сложный феномен, куда более замысловатый, чем обычный смех, обычная лирика или обычное страдание. Гоголь всё ещё молод, отчаянно, животрепещуще молод, это молодость русской культуры, с её мало-российскими корнями, с её резкими контрастами смысловых переходов, с её взрывной весной, которой надо уложиться в короткие недели, чтобы всё успеть, с её трудным счастьем, которое надо вынести, имея долю мужества.

И вот гоголевское перо торопится, творческая волна идёт по восходящей, она поднимает Гоголя, как воздушные потоки, струящиеся над океаном, поднимают птиц, расправляющих своих крылышки, и Гоголь берётся за дело, как никогда, упорно и энергично, как никогда, отчаянно. За весьма короткий срок он дописывает, доводя до настоящего совершенства своего «Ревизора», нашего «Ревизора».



*Пушкин и Гоголь. Художник Н.М. Алексеев*

Наступающий 1836 г. Гоголь встречает в прекрасном расположении духа. В письме к матери, датированным 18 декабря, он сообщает, что ожидает от предстоящего года много добра.

Текст новой пьесы перед первым представлением на театре Гоголь читал сначала в близком кружке, а затем и многим, заинтересовавшимся по слухам и так или иначе получившим возможность слышать её из уст самого автора.

\* \* \*

Когда «Ревизор» был создан, представлен друзьям и некоторым другим людям, то есть проверен и отчасти «обкатан», дорога лежала на театр, но теперь начиналось самое неприятное – необходимо было провести, а точнее сказать, «протащить» комедию через цензуру. Это предприятие не обещало быть лёгким. Дело в том, что официальный цензор, которому был представлен текст пьесы, не мог её одобрить, во всяком случае без колебаний (хотя исследователи к настоящему моменту выяснили, что и запрещена пьеса ещё не была, цензура колебалась). Что ж, теперь для Гоголя и для людей, которые верили в его произведение, оставался один верный выход – идти к государю.

Казуистику политического момента и логику принятия решений государя Николая I разбирать здесь не станем, хотя разговор о мотивах неожиданно возникшей благосклонности Николая Павловича к произведению Николая Васильевича не многим менее любопытен и важен, чем спор о происхождении сюжета гоголевской пьесы. Но всё же зафиксируем сам факт: государь дал «добро», и, что ещё более занятно и потрясающе, сам способствовал успеху «опасной» гоголевской сатиры.

В «Хронике Санкт-Петербургских театров» Вольфа мы находим следующий рассказ о первом представлении «Ревизора»:

«Гоголю, как и всем сатирическим писателям, нападающим на недостатки современного общества и особенно администрации, большого труда стоило добиться до представления своей пьесы. При чтении её цензура перепугалась. Оставалось автору апеллировать на такое решение в высшую инстанцию. Он так и сделал. Жуковский, князь Вяземский, граф Виельгорский решились ходатайствовать за Гоголя, и усилия их увенчались успехом. «Ревизор» был вытребован в Зимний дворец, и графу Виельгорскому поручено его прочитать. Граф, говорят, читал прекрасно; рассказы Бобчинского и Добчинского и сцена представления чиновников Хлестакову очень понравились, и затем, по окончании чтения, последовало Высочайшее разрешение играть комедию» [136].

«Первое представление состоялось на Александринском театре 22-го апреля 1836 г. Зала наполнилась блистательнейшею публикою, вся аристократия была налицо, зная, что государь обещал быть в театре. Роли распределили как нельзя лучше. Сосницкий играл Городничего, Дюр – Хлестакова. Успех был колоссальный. Публика хохотала до упаду и осталась очень довольною исполнителями. Государь, уезжая, сказал: «Тут всем досталось, а более всего мне». Несмотря на то, запрещения комедии не последовало, и она игралась беспрестанно. В следующих представлениях Максимов чередовался с Дюром в роли Хлестакова и был чуть ли не лучше его. Сцена вранья после обеда передавалась им великолепно» [137].

Гоголевская пьеса произвела настоящий фурор в тогдашнем обществе, с первого же дня, с первого же представления став событием общегосударственного масштаба. А.В. Никитенко записал в своем дневнике следующее:

«Комедия Гоголя «Ревизор» наделала много шуму. Её беспрестанно дают – почти через день. Государь был на первом представлении, хлопал и много смеялся. Я попал на третье представление. Была государыня с наследником и великими княжнами. Их эта комедия тоже много тешила. Государь даже велел министрам ехать смотреть «Ревизора». Впереди меня, в креслах, сидели граф Чернышев и граф Канкрин. Первый выражал свое полное удовольствие; второй только сказал:

– Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу?

Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается. Я виделся вчера с Гоголем. Он имеет вид великого человека, преследуемого оскорблённым самолюбием. Впрочем, Гоголь действительно сделал важное дело. Впе-

чатление, производимое его комедией, много прибавляет к тем впечатлениям, которые накапливаются в умах от существующего у нас порядка вещей» [138].

Успех «Ревизора», казалось бы, превзошёл все ожидания, но что-то удручало Гоголя. Так что же заставило его вдруг захандрить?

В письме, написанном по поводу первого представления «Ревизора», Гоголь так изображает своё состояние во время спектакля: *«С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный. О восторге и приёме публики я не заботился. Одного только судьи из всех, бывших в театре, я боялся, и этот судья был я сам. Внутри себя я слышал упрёки и ропот против моей же пьесы, которые заглушали все другие»*. Из дальнейшего содержания гоголевского письма видно, что каждый неловкий приём актера бросал Гоголя в жар и озноб, каждая фальшивая нота резала по сердцу и отзывалась тяжелой, шемящей болью. Можно представить себе после этого, каково было нравственное состояние Гоголя, когда, например, в третьем явлении первого действия показались на сцене карикатурные Бобчинский и Добчинский в каком-то нелепом, шутовском наряде. Всего менее удовлетворило Гоголя исполнение четвертого действия, которое он тут же решил переделать, и немой сцены в конце комедии [139].

Владимир Шенрок, материалы исследования которого я использовал в числе источников данной главы, приводит, помимо прочего, слова очевидцев первого представления гоголевской пьесы. «Я помню, – говорила одна из зрительниц, – что когда ставили «Ревизора» на сцену, все участвующие артисты как-то потерялись; они чувствовали, что типы, выведенные Гоголем в пьесе, новы для них и что эту пьесу нельзя так играть, как они привыкли разыгрывать на сцене свои роли в переделанных на русские нравы французских водевилях» [140].

Шенрок также указывает на меткое и прозорливое мнение И.И. Панаева, который в своих «Литературных воспоминаниях» сказал, что «Ревизор» Гоголя имел успех колоссальный, но в первые минуты этого успеха никто даже из самых жарких поклонников Гоголя не понимал вполне значения этого произведения и не предчувствовал, какой огромный переворот должен совершить автор этой комедии [141].

\* \* \*

В разговоре о том, как был воспринят «Ревизор», есть один очень любопытный, а пожалуй, и чрезвычайно важный момент. Наш уважаемый Шенрок говорит о нём так: «Его (Гоголя), истинного консерватора по убеждениям, принимавшего самое название либерала за нечто позорное, стали провозглашать либералом, и притом самым отъявленным, – его, в близком будущем завязатого религиозного мистика, упрекали чуть не в безбожии («Сегодня он скажет: такой-то советник не хорош, а завтра скажет, что и Бога нет»); наконец, о нём, ополчившемся в защиту поруганного права и законности, стали кричать, что будто бы он был, напротив, враг закона и отечества («Теперь, значит, уж ничего не осталось. Законов не нужно, служить не нужно. Вицмундир, вот, который на мне, – его, значит, нужно бросить: он уж теперь тряпка» [142].

Отметим, что этот момент очень важен! Наступит срок (после выхода «Выбранных мест из переписки с друзьями»), и непонимание обществом творческих задач Гоголя станет для него по-настоящему тяжким испытанием, помноженным на непонимание им своих ошибок (допущенных в ходе создания тех «Выбранных мест...»). Но до поры этот пунктик в самом деле не был столь серьёзным препятствием для диалога Гоголя с читателями и зрителями, ведь главный пафос «Ревизора», то есть крик о наличии серьёзнейших язв на теле российского общества и пороков в системе бюрократии, не мог не быть замечен и не мог не осуществить серьёзной работы. И, как скоро выяснилось, эта работа была колоссальной.

Некоторые биографы, в числе которых, к сожалению, Шенрок (а его мнение нельзя не принимать в расчёт), говоря о результирующей того процесса, которым было представление

«Ревизора» публике обеих наших столиц, приходят к выводу, будто Гоголь в целом воспринял процесс этот как свою неудачу или даже фиаско и по этой причине спешил покинуть Россию.

Однако в реальности дело было не совсем так или совсем не так. Гоголь не только не был сломлен, напротив, в его распоряжении оказалось ещё более широкая сфера возможностей, и он сам, конечно же, понимал это. Гоголь и не думал завязывать с тем делом, на траекторию которого он вышел. В данный момент он собирался лишь усиливать своё направление, лишь углублять фарватер своего пути.

Но Шенрок, работая над биографией Гоголя, и шедшие за ним многочисленные исследователи всё же отстаивали утверждения, будто Гоголь воспринял реакцию зрителей, а вернее русского общества в целом, как глубокое непонимание.

Справедливости ради нужно заметить, что Владимир Иванович и его последователи не с потолка брали свои доводы, они основывались на некоторых фактах. К примеру, цитировали письмо Гоголя Жуковскому. Николай Васильевич сообщает в нём следующее: *«Мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать кого-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я наконец задумался. «Если сила смеха так велика, что её боятся, стало быть, её не следует тратить по-пустому». Я решился собрать всё дурное, какое только я знал, и за одним разом над всем посмеяться – вот всё происхождение «Ревизора»! Это было первое моё произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось; в комедии стали видеть желание осмеять законный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступление некоторых лиц от форменного и законного порядка. Представление «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего. Душа требовала уединения и обдуманья строжайшего своего дела» [143].*

Что ж, в самом деле, Гоголь говорит почти о том, что впоследствии будет принято как факт, будучи растиражировано Шенроком. Однако и Владимиром Ивановичем, и многими другими людьми была упущена важная деталь, ведь письмо, которое процитировано выше, было написано Гоголем спустя много лет после выхода «Ревизора», а именно в 1848 г., когда гоголевское восприятие былого успеха начало изменяться, удивительным образом, а творчество своё он начал понимать в виде «строжайшего дела». Гоголь 1836 г. и Гоголь в 1848 г. – это два довольно разных человека, многое в них разнится.

И, кстати сказать, решение об отъезде за границу, которое, если верить гоголевскому письму 1848 г., родилось после выхода «Ревизора» к зрителям, на самом-то деле было принято Гоголем намного раньше, и тому есть несколько доказательств. Николай Васильевич, ещё только готовя пьесу на театр, уже замыслил вояж и даже планировал его маршрут (а также изыскивал финансовые средства). Так что из России его «выгнал» уж точно не гул зрительского неодобрения, да, и, по совести говоря, к полнейшему уединению Гоголь пока не стремился.

До той поры, пока Гоголь не «завязал с сатирическим направлением», пока не взялся он за создание «назидательных поучений», восприятие Гоголем многих вещей и явлений, и в том числе собственного творчества, было немного иным. И несмотря на то что уже в молодости в Гоголе, конечно же, зарождался тот человек, что появится потом перед всеми (удивив всех), не стоит нам всё-таки воспринимать гоголевскую личность в виде статичной системы, неизменной с юности. И хотя поздний Гоголь, глядел на себя молодого, будучи убеждён, что всегда являлся именно тем, кем предстал в период «Выбранных мест...», но в реальности можно проследить несколько разных периодов гоголевской творческой жизни, да и жизни вообще, ведь существовал и усугублялся многосложный казус в гоголевском сознании и в творческом целе-

полагании. Казус этот нам ещё предстоит проговорить, причём очень подробно, ведь его суть будет связана со многими, весьма значимыми для нас, аспектами гоголевской личности.

Однако здесь нам надо зафиксировать одну лишь простую вещь, очень простую. Гоголь, как и многие другие люди, пережил несколько разных периодов взросления и становления (а затем и угасания). И пока, в данный конкретный период, то есть в 1836 г., перед нами молодой Гоголь, тот всё ещё немного ветреный юноша, который к тому же захвачен волной немыслимого успеха. И о крахе надежд в данный момент говорить уж точно не приходится. Тут нечто совсем иное.

В момент, когда в Александринке шли первые представления «Ревизора», в сердце Гоголя, в душе Гоголя, в сознании Гоголя бушевали неуёмные драмы, страсти взлётов и падений, его переполняли сменяющие друг друга чувства, он был как канатоходец над бездной в присутствии сотен зрителей. Однако это совершенно естественное состояние художника в такой ситуации. Здесь-то Гоголь не так и странно выглядит, свои «фирменные странности» он не слишком ярко и проявил. Представление «Ревизора» публике он пережил именно так, как чаще всего переживает процесс выдвижения к зрителю произведения подобного уровня талант такого масштаба.

Когда произведение только явилось публике, автор (закономернейшим образом) был опустошён, потом от него не скрылась масса недоделок плюс к тому – масса ошибок, допущенных исполнителями, масса неточностей восприятия неподготовленной публикой, масса окриков от глупцов и обиженных «мишеней» данной комедии, масса толков, масса восторженных или разочарованных голосов, короче говоря – великая мешанина, которая всегда, всякий раз, появляется вслед за пришествием огромного и великого феномена.

Комедия никого не оставила равнодушным и не могла оставить – это понимал Гоголь, это не могло не льстить гоголевскому самолюбию.

Гоголя затронула волна великой популярности, просто фантастической, всероссийской славы, в сравнении с которой успех предыдущих его творений казался лишь слабой тенью. Именно мощь нахлынувшей славы заставила Гоголя испытать необычайную душевную бурю. Гоголь уже давно готовил себя к этой славе, он давно угадал её, он знал, что она явится, он мечтал о ней, однако после её стремительного, похожего на штормовой натиск, вторжения в жизнь Гоголя всё его существо обязано было пройти проверку на прочность. И уж поверьте, эта проверка – не из самых лёгких, это тяжкая ноша, причём даже для Гоголя – человека, который, казалось бы, создан был именно для этого и с самого начала, с самого детства предчувствовал приход этой океанской волны.

Гоголь стал кумиром молодёжи, Гоголь стал олицетворением новой русской комедии, нового театра, нового отношения к российской реальности, нового мышления, новых тоналностей художника и гражданина в разговоре с властью и обществом. Да, такая вот махина стала за плечами Гоголя. И всё это в какие-то дни, в какие-то недели, стремительно, быстро и необычайно!



*Собственноручный рисунок Гоголя к последней сцене «Ревизора». 1836 г.*

Гоголевский «Ревизор» так смело пошёл в народ, в сознание народа, в его чувства и мысли, что автору необходимо было привыкать к этому так, будто он заснул обычным молодым человеком, обыкновенного роста и привычного облика, а проснулся великаном.

И Гоголь просто не мог оставаться спокоен, это никак невозможно было в его положении.

Гоголь наполнил собой всю Россию, и потому ему было тесновато теперь в ней – это одна из причин отъезда в Европу, хотя и не самая главная. Другой причиной была черта, некая черта, которую сама жизнь подвела отныне под той частью, тем периодом жизни Гоголя, что начался с приезда в столицу робкого, стеснительного малороссийского юноши, несущего в себе огромный потенциал и большие амбиции.

Когда-то Гоголь въехал в столицу совсем незамеченным, никем не узнанным, теперь же он уезжал, уплывал на волнах Балтики и незамеченным уже не мог остаться. Что-то важное состоялось теперь в его жизни и должно было остаться подчёркнутым, подведённым этой чертой, этой красной линией, за которой должна была начаться уже совсем иная жизнь, иные вершины. Была ещё одна причина, но о ней – после.

Гоголь подошёл к важному рубежу и теперь готовил себя к тому, чтобы взять планку, высокую планку, уже мысленно начертанную над головой. Да, конечно же, речь идёт о настоящем начале работы над главным произведением Гоголя, о деле всей его жизни, о поэме, которая призвана обрисовать жизнь России, её житьё-бытьё, а вернее, бытие.

Ранней весной 1836 г. (ещё до того, как «Ревизор» был поставлен на театре) Гоголь, находясь в Москве, окончательно принял решение ехать за границу. Николай Васильевич решил закрыть прежнюю страницу своей жизни, дать вольную своему крепостному слуге Якиму, изменить что-то в себе, в своей судьбе и дальнейшей будущности. И вот Гоголь настоял, чтобы дирекция московского театра выплатила ему 2500 рублей вперёд за «Ревизора». Это было смелое требование, ведь на такие условия театры обычно не шли, однако для Гоголя сделали исключение, и он всё-таки получил заслуженные деньги и мог спокойно ехать в Петербург, чтобы оттуда, не откладывая дело в долгий ящик, отбыть в Европу, где его уже ожидали кое-какие встречи.

Что ж, хватит слов, хватит промедлений! Прочь, прочь из прошедшего дня! Поспешим к Балтике, поспешим к причалу! Взяв с собой за компанию старого друга Данилевского, Гоголь

ступил на трап. Теперь предстояло несколько дней утомительного путешествия, чтобы, доехав до европейских берегов, отпустить Данилевского путешествовать дальше, на запад, в желанный для него сияющий Париж, а самому свернуть в иную сторону, отбыв в небольшой городок в Германии, ожидая там приятного свидания.

## Глава шестая. Отъезд за границу

Итак, «Ревизор» поставлен, Гоголем кое-как пережит его фурор, финансовые затруднения разрешились, и 6 июня 1836 г. молодой классик отбыл за границу. Перед отъездом накопил уйму подарков, чтобы отправить их домой – матери и сёстрам, а поскольку Яким ни в какую не согласился покинуть семейство Гоголей, заявив о том, что вольную принять не желает [144], Николай Васильевич собрал подарки, которых набрался целый экипаж, и, вручив их заботам Якима, оплатил ему дорогу до Васильевки. Слуга поехал как барин, но по сухопутному пути, ну а молодой господин отбыл морем.

Далее Гоголю предстояло окунуться в водоворот дорожных приключений, хронологию которых мы находим у Шенрока.

«Гоголь двинулся в сообществе своего неразлучного друга Данилевского. Оба свободные, оба молодые и жадно стремящиеся окунуться в столь заманчивый и ещё не знакомый им западноевропейский мир, они весело, как бы сбросив с себя груз обыденных и наскучивших впечатлений, бросились навстречу приветливой будущности. Над ними летали тогда золотые сны молодости и занималась заря лучшей, поэтической поры жизни, полной радостей и светлого юношеского счастья. Они чувствовали себя легко, почти так, как в былое время, когда в первый раз ехали в Петербург, и как чувствуют себя только люди, которых ласкает надежда и которые полной грудью вдыхают ещё ничем не отравленное счастье жизни. Они не могли не знать, конечно, что, быть может, их ожидают впереди трудные дни, но в настоящем им улыбалась самая приятная жизнь, украшенная прелестью новизны [145].

Сёстры Гоголя простились с ним в институте; но на пароход приехал дружески проводить Гоголя князь Вяземский, расположенный к своему молодому литературному собрату и еще недавно ломавший за него копыя полемики: мы разумеем здесь его превосходную статью в «Современнике» о «Ревизоре» [146].

Ещё перед отъездом Гоголь писал матери: *«Попутчиков мне много. Никогда не отправлялось за границу такое множество, как теперь»*, и в самом деле – общество собралось большое, шумное; кроме того, пассажиры скоро перезнакомились между собой. Наши путники взяли курс на Любек; для Гоголя таким образом начало путешествия в отношении направления являлось как бы повторением прежней поездки в 1829 году» [147].

В продолжение почти двух недель они ехали до Травемюнде. Всегда страдая во время морских переездов от качки, Гоголь едва выдержал жестокую бурю. Впрочем, во время пути кроме его друга и постоянного спутника Данилевского были ещё другие знакомые попутчики, одного из которых, Золотарёва, молодого человека, только что окончившего курс в Дерптском университете, он нередко встречал впоследствии во время своих заграничных скитаний. На пароходе Гоголь познакомился также со многими случайными спутниками, как это всегда бывает при таком способе сообщения; но однообразие впечатлений и страх новых приступов морской болезни были причиной почти восторженного чувства, овладевшего Гоголем при выходе на берег [148].

О своих спутниках Гоголь писал институткам-сёстрам: *«У нас было очень большое общество, дам было чрезвычайно много, и многие страшно боялись воды. Одна из них, т-те Барант, жена французского посланника, просто кричала, когда сделалась буря»* [149].

Дальнейший бюллетень поездки мы находим в следующих словах первого заграничного письма Гоголя к матери: *«Выбравшись из парохода, который мне надоел жестоко, я проехал очень скоро Травемюнде, Любек и несколько деревень, не останавливаясь почти нигде до самого Гамбурга»*. Наконец утомление заставило Гоголя несколько приостановить стремительный путь, что могло иметь также иное основание: с Гамбургом он не успел спокойно и неспешно ознакомиться в свою первую поездку, так что этот город в значительной степени

представлял для него и теперь интерес новизны. В Гамбурге Гоголь прожил не менее недели, отдыхая душой и имея возможность рассмотреть его лучше, нежели в прежнее время. По тем чертам гамбургской жизни, которые были на этот раз уловлены Гоголем, и по способу, которым он пользовался для этой цели, можно предполагать, что в это первое время своего путешествия он думал только об отдыхе и развлечении [150].

Начав путешествие по Германии, Гоголь решил несколько разнообразить свой гардероб. Золотарёв, по всей видимости, сделал то же самое. Настроение наших юношей был настолько лёгким, что даже такая мелочь сумела стать поводом для яркой радости и дать повод для шуточного стихотворного экспромта. Как впоследствии вспоминал Данилевский, друзья ехали потом из Гамбурга в Ахен и пели песенку:

Счастлив тот, кто сшил себе  
В Гамбурге штанишки...  
Благодарен он судьбе  
За свои делишки.

Вообще, такие шаловливые, а иногда и не совсем скромные стишки Гоголь любил сочинять, когда скучал без дела, как это случалось, например, во время путешествий, пишет далее Шенрок; Золотарёв был весёлый молодой человек, сообщество которого также много способствовало развлечениям в дороге [151].

Гоголя, несмотря на последствия морской болезни, по-прежнему переполняло то молодое веселье, которое свидетельствовало о кипении жизни. Какая яркая противоположность между Гоголем 1836 г. и второй половины 40-х, когда, по свидетельству Анненкова, он спешил во время дороги закрыться воротником шинели и «принимал выражение каменного бесстрастия»! [152].

Первым совершенно незнакомым для Гоголя городом во время его путешествия был Бремен.

В Бремене они с Данилевским посетили знаменитый погребок с рейнвейном, искусно сберегаемым целых сотни лет. По словам Гоголя, этот рейнвейн отпускался только опасным больным и знаменитым путешественникам, но и им с Данилевским удалось достать его за большие деньги. По словам Данилевского, оба они далеко не обладали хорошими средствами и вообще ездили очень экономно, но тут решились непременно испробовать этот знаменитый рейнвейн [153].

Добравшись до Ахена, Гоголь расстался с Данилевским, и они стали выбирать маршрут каждый по своему вкусу. Это было в первых числах июля 1836 г.

Продолжая вояж, Гоголь заехал в Кёльн и, наскоро осмотрев тамошние достопримечательности, разнообразил своё путешествие плаванием на речном судне, отправившись в поездку по Рейну. *«Это совершенная галерея, – писал он с восхищением, – с обеих сторон города, горы, утёсы, деревни, словом – виды, которых вы даже на эстампах редко встретите»* [154].

До поры Гоголь продолжал восхищаться немецкими видами, не зная ещё, каким тягостным станет его разочарование Германией и немцами спустя несколько лет.

Проехав по Рейну, Гоголь остановился ненадолго во Франкфурте-на-Майне, а оттуда двинулся, не став теперь медлить, в Баден, где рассчитывал встретиться с семейством Балабиных, и прежде всего с Машенькой. Здесь же оказались и Репнины – балабинские родственники.

Княжна Репнина припоминала, что настроение Гоголя в Бадене ей было хорошо памятно. *«Мы скоро с ним сошлись, – рассказывала княжна, – он был очень оживлён, любезен и постоянно смешил нас»*. По словам княжны Репниной, Гоголь ежедневно заходил к ним, сделался

совершенно своим человеком и любил беседовать с бывшей своей ученицей Марией Петровной Балабиной.

В это время Гоголь неподражаемо-превосходно читал Марии Петровне Балабиной «Ревизора» и «Записки сумасшедшего» и своим чтением приводил всех в восторг; а когда он дошёл однажды до того места, в котором Поприщин жалуется матери на производимые над ним истязания, Варвара Осиповна Балабина не могла выдержать и зарыдала [155].

В Бадене Гоголь провёл незабываемые недели, но потом путешествующие по Европе семейства разъехались по своим маршрутам. Быть может, Николай Васильевич оставался бы рядом с Машенькой и дальше, но её мать, Варвара Осиповна направлялась в Брюссель, где жил её почтенный отец, юная Мария Петровна должна была навестить дедушку, ну а Гоголь направился наконец искать уединённый уголок для того, чтобы засесть за дело, начать всерьёз работать над задуманной поэмой о России.

Николай Васильевич посчитал, что наиболее подходящим местом для литературной работы станет Швейцария, куда и двинулся, тепло простившись с Машей и взяв с неё обещание присылать в Швейцарию письма с подробными рассказами о путешествии.

И вот Гоголь впервые в легендарной стране озёр и альпийских пейзажей. Ах, Швейцария! В середине августа (скорее всего, 16-го числа) Николай Васильевич прибывает дилижансом в Базель, затем двигается южнее – в Берн, посещает русского посланника и направляется в Женеву, где намерен обосноваться надолго.

Оказавшись на берегах Женевского озера, Гоголь принялся усердно учиться французскому языку, который трудно давался ему в гимназии, и вот благодаря живой практике наш путешественник «начал бегло собачиться по-французски».

*«Я хотел скорее усесться на месте и заняться делом, – пишет он Жуковскому, – для этого поселился в загородном доме близ Женевы».* Но в Женеве его охватило чувство одиночества, – сообщает Шенрок, – и хотя Гоголь забывался за перечитыванием своих любимых классиков, но не мог заглушить в сердце незаметно подкрадшуюся тоску, особенно когда должен был отказаться от надежды увидеться с Балабиными, добавляет Шенрок далее. Гоголь ежедневно стал выходить на парходную пристань в надежде встретить в густой толпе высаживающихся на берег приезжих кого-нибудь из близких знакомых [156].

В Женеве Гоголь, однако, прожил более месяца (со второй половины августа по конец сентября), но напавшая на него вдруг меланхолия, а ещё непогода, начавшиеся ветры, которые «грознее петербургских», заставили его сняться с места.



*Женевское озеро. Художник Ф.-Э. Шардон*

Николай Васильевич решает отыскать более уютный уголок в альпийских долинах и находит его. Пристанищем и кабинетом для литературных занятий становится небольшой городок Веве, находящийся рядышком, на том же берегу Женевского озера, но закрытый горным хребтом от северных ветров и оттого тёплый, почти как наша маленькая Ялта.

Выбор этого места был не случаен для Гоголя, здесь многое будоражило его воображение, ведь в разное время тут бывали Байрон, Жуковский, Карамзин, а ещё – Руссо, который написал о Веве в своей «Исповеди»: «Я проникся к этому городу любовью, не покидающей меня во всех моих путешествиях и заставившей меня в конце концов поселить там героев моего романа».

И вот, успокоившись немного, отойдя от прежних эмоций, подкопив достаточно душевных и физических сил, Гоголь, проникшись атмосферой излюбленного поэтами местечка, берётся за работу над «Мертвыми душами».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.